

Б И Б Л И О Т Е К А

ОГОНЁК

№ 14

1971



Николай РОДИЧЕВ

**ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ
ЧЕЛОВЕК...**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 14

Николай РОДИЧЕВ

ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОВЕК...

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1971

Николай РОДИЧЕВ

Николай Иванович Родичев родился в 1925 году на Орловщине в семье потомственных крестьян-краснодеревщицков. До войны учился в средней школе. С 1943 по 1950 год служил в Советской Армии: пехотинцем, танковым десантником, политработником. Участник Великой Отечественной войны.

Первые стихотворения публиковал в армейской печати. За два десятилетия работы в литературе вышло более двадцати сборников рассказов и повестей. Наиболее известные произведения Н. Родичева: «Десятый «б», «Огонь на себя», «Не отверну лица», «За сиреневыми звездами», «Амурское лето».

В последние годы Николай Родичев активно работает в жанре очерка и документальных рассказов о нашем современнике. За книгу очерков «Вешка у родника» он получил премию на Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу прозы о рабочем классе.

В настоящем сборнике публикуются несколько документальных очерков Н. Родичева, написанных автором для журнала «Огонек».

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Живет в деревне человек..	3
Конопляный бог	22
Клинок	32
Строгая тишина	41

ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОВЕК...

С высоты птичьего полета земля эта, наверное, кажется скатертью-самобранкой. Поля — холмистые, округлые, похожие на хлебные караваи. Обрамлены они узорами подступающих редких лесов. Вскинувшиеся близ дороги березовые рощи просматриваются насквозь. За белыми стволами видится лесок пониже и погуще, с темно-зелеными пиками вершин. Это елошник, а за елошником вдруг вынырнет дом-теремок с кичкой по гребню крыши, притянет за собой к шоссе целый рядок таких же нарядных строений.

Сразу после города Шуи, промышленного Каменнокрасного и запыленного с весны, начинаются селения, которые в затейливом убранстве будто соперничают с окружающей природой: резные наличники на окнах, точеные опоры крыльца, побеленная жечь колпачков на дымоходе. За Афанасьевскими холмами большое селение староверов-полушубошников Пустошь, дальше идут Дорки, после них — Красное. Чем дальше в глубь Иванова края, тем острее чувство, что едешь по земле предков. Отовсюду глядит на тебя горделивая, осанистая, мастеровая Русь.

С холмов видны купола Крестовоздвиженского храма. Впереды — Палех.

Об этом старинном гнезде национальной живописи написаны тома. Кратковременный визит в малую столицу народного искусства ничего не даст. Давайте на этот раз не доедем до Палеха.

У небольшого мостика через речушку крутой сворот с наезженного шоссе к деревеньке с колодезным журавлем на единственной и очень кучей улице. Это Дягилево, или просто Дягили. Так называли встарь затравеневшее устье трех речек, сбгающихся сюда пошептаться с камышами: Люлех, Палешка, Демидовка.

В буйном цветении разнотравья, в неистовом хоре слетевшихся на гнездовье птиц, отороченные орнаментом елошника и ракиит поднялись над дорогой дома. Один в один ладные, принаряженные резьбой до колпачков над трубой, строения эти

выглядят празднично, домовито. Русская пословица «Не красна изба углами...» родилась явно не здесь. Любой дягилевский дом мог бы с вызовом спросить: «А почему, собственно, я не должен быть красив и углами?»

Не помню уже, третьим или четвертым от леска стоит дом с узорной вязью наличников и одинокой присадистой березой напротив окон. Когда стареют деревья, обнажаются их корневища — извилистые и темные, будто сухожилия на ногах усталого человека. Нижние, самые первые, побеги березы уже отопрели, оставив на стволе глубокие гнезда. По этим оспинам и трещинкам на белой коре можно прочесть биографию дерева, как узнаем о переживаниях человека по морщинам на лице.

Откуда-то из глубины подворья к калитке вышел высокий прямой старик — бритоголицый, с жестким пучком седых волос на верхней губе. Суровые складки рассекают его зарумянившееся от работы на свежем воздухе лицо. Большие крестьянские руки в земле — он только что бережным движением прислонил к крыльцу лопату.

Николай Михайлович Зиновьев. Народный художник.

На одном из довоенных портретов, обошедшем многие наши и зарубежные газеты после того, как Николай Михайлович получил на парижской выставке Гран-при, художник был изображен крестьянином с волевыми, крупными чертами лица, в расшитой косоворотке. Сейчас в его внешности мало что изменилось, разве поглубже врезались в загорелую шею складки да косоворотку он сменил на теплую фланелевую сорочку в большую клетку — такие в моде у столичных студентов. Видно, не очень-то доверяя переменчивому предобеденному ветру, Николай Михайлович надел поверх сорочки ватную безрукавку: погода солнечная, но над головой, оставив свой след в редких волосах, прошумело восемьдесят зим...

Ранняя весна успела опустить деревья. Подзолоченные солнечным светом сережки свисают с ветвей березы, прибавляя очарования и без того нарядному дому Зиновьевых. Трудно сказать, сколько этому дому лет. Прадед художника, иконописец и гренадер Кузьма Христофорович, возвратившись из похода против Наполеона, расчищал здесь под фамильную сельитьбу место от болотной травы. Дом достался деду Ивану, затем этот очаг перешел к отцу Николаю Михайловича. Только нынешний хозяин за свой век трижды менял подопревшие венцы, уложенные руками предков.

Род Зиновьевых славился богоугодным ремеслом, все выходцы из него были отменными иконописцами. Горазды были Зиновьевы украсить росписью стен монастырские покои, работали в храмах.

Николая Михайловича ждала иная судьба, иная слава. Выдающийся мастер художественной миниатюры, он был одним из тех прирожденных «богомазов», которые, отрешившись от ремесла предков, бережно сохранили технику древней живописи и вырастили на ее основе новую, самобытную ветвь национального искусства.

Впрочем, одни ли Зиновьевы?

Несколько слов о корнях и истоках.

Сохранилась челобитная в адрес царя Михаила Федоровича, составленная дворником Троицкого монастыря иконником Ивашкой. В ней «богомаз» жалуется на другого иконника, палешанина Василия Иванова Зубкова... Фамилия Зубковых затем упоминается еще в целом ряде церковных документов. И сейчас это одна из знаменитых семей живописцев. Из других источников можно узнать, что палешане участвовали в расписных работах при дворе Ивана Грозного.

В 1814 году Гете, ознакомившись с некоторыми образцами русских икон, запросил о мастерах кисти более подробные сведения. Владимирский губернатор А. Супонев выслал поэту две работы палешан братьев Каурцевых: «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь».

В середине прошлого столетия старинное гнездо русских иконников посетил некто Г. Филимонов. Он писал: «Вместо жалких крестьян-ремесленников я совершенно неожиданно встретился с народом развитым, исполненным светлых убеждений, знающим свою историю...»

С судьбой многих палешан счастливо переплелись жизненные пути А. М. Горького, который до самой кончины трогательно опекал своих «богомазов».

Палешане имели десятки мастерских не только в родном селе и окрестье, но и в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Петербурге. У одного из таких предпринимателей, купца А. Д. Салабанова, приобщался к ремеслу четырнадцатилетний Алеша Пешков. Однофамилец Николая Михайловича, давний житель Дягилева и, по всей видимости, родич по какой-нибудь линии в этой горстке переплетшихся между собой семей, Аким Зиновьев приходился Алеше Пешкову «третьим учителем» в его жизненных университетах (первым учителем, по признанию писателя, была бабка Акулина Каширина, вторым — повар Смурий).

Сейчас жив сын Акима Зиновьева, Николай Акимович, хорошо знающий эту историю от своего отца.

— В 1882 году,— воспроизводит семейное предание Николай Акимович,— с одной из групп иконописцев он (отец) прибыл в Нижний Новгород. Здесь в мастерской А. Д. Салабанова выпол-

няли подряд для одной из церквей... Тогда же в мастерскую к ним поступил высокий худой отрок. Звали его Лешкой. Фамилия была Пешков... У некоторых ученики уже были. Другие от них отказывались. Мой отец подозвал к себе отрока: «Ко мне иди. Будешь всегда под рукой. Когда краски в лотках разотрешь, а когда в казенку за вином сбегашь. Сразу тебе кисти в руки не дам». Долгими зимними вечерами, когда не было хозяина, иконописцы просили новичка: «Садись, Лексей, возле моего «глобуза» (кувшин для воды) и читай нам, а мы послушаем, больно ловок ты читать... Кто слушает — тот кушает, кто говорит — тот сеет...»

«Третий учитель» не раз брал с собой юного Пешкова в церковь помогать в росписи стен, хвалил за усердие. Но особой склонности к иконописи за внуком Акулины Кашириной мастеравые не замечали.

Когда Коле Зиновьеву было лет 10—11, в студеные зимние вечера в их дом наведывался приятель отца, Василий Васильевич Крылов, тоже работавший в бытность Пешкова в той самой мастерской. Гость присаживался где-нибудь поближе к плите с пылающими в ней поленьями и вместе с отцом, Михаилом Ивановичем, писал иконы. Чтобы мальчишке не было скучно с ними, Крылов много рассказывал о том, что видеть и слышать довелось. Запомнились горделивые слова старого человека: «Колька, а ведь я спал на нарах рядом с Алешей Пешковым! Ел с ним за одним столом. А теперь он знаменитый писатель. Гляди, и ты в знаменитые выйдешь. О нас тогда вспомни!»

Позже Николай Михайлович вычитал у М. Горького «В людях» добавление к словам рассказчиков: «В мастерской жарко и душно; работают около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя, Мстеры, все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц».

Алексей Максимович и тогда умел отделять невыносимые условия труда, созданные хозяином, от мечтательной жизни чудаковатых мастеров, в которых он замечал и настоящую одаренность и глубокую человечность во взаимоотношениях друг с другом. Став знаменитым писателем, он не разлюбил Палеха, заботливо помогал расцвету нового искусства, знал лично многих мастеров, не скупился на хорошие слова об одаренных. О художественной миниатюре палешан он сказал: «Это одно из малых чудес, созданных революцией...»

С восьми лет Коля Зиновьев пошел в школу. На всю округу школа была одна, в Палехе. Учили в ней начальной грамоте.

Ходил мальчик с небольшой ватагой сверстников, перекинув холщовую сумочку через плечо, по заснеженному полю или по большаку, раскатанному санными полозьями. Именно такой запомнилась ему дорога к знаниям, потому что дети крестьян в ту пору учились только зимой.

С наступлением пахотной страды весной и до глубокого заморозка все с мала до велика выходили в поле. Деньги, полученные отцом за иконы, поглощались неизбывными нуждами по части одежды и обуви, тратились на приобретение инвентаря да мало ли куда еще... Вдобавок родитель страдал пристрастием к хмельному.

Бабушка говорила: «Не пей, Коля! Из-за отцовского зелья мы ни один праздник путем не отметили... Где пьянка, там драка...»

— До сорока пяти,— вспоминает Николай Михайлович,— я в рот не брал вина. И сейчас не обрел к нему вкуса.

Кормились с полоски земли. Младшие заготавливали впрок дары леса, старшие трудились в поле, в плетеных кошелях свозили к погребу картошку, ухаживали за скотом. При таких заботах и в большом семействе были учтены даже детские руки. Во всяком случае, отсутствие Коли в семье оказалось заметным. После окончания двух «зим» отец заявил сыну:

— Будет тебе, Николай, с книжками возиться... Письмо написать порозд — и ладно.

Отцу требовался помощник в отхожих промыслах. Настала пора приноравливать мальчика к фамильному ремеслу. Однако, сколь ни силен был Михаил Иванович в иконописи, одних его поручений не доставало, чтобы его навыки привились, полюбили мальчику. Вскоре его отвели в иконописную мастерскую Белоусовых. Коле завидовали сверстники: братья Белоусовы славилась умением расписать фрески в древних храмах, по заказам богатых людей изготавливали портреты. Их позвали реставрировать древние фрески в Грановитой палате Кремля. Иконы их отличались своим стилем, изяществом исполнения. Ходили слухи, что Белоусовы владеют секретами приготовления красок... Но к высотам ремесла дорога была долгая и крутая, полная всяких неожиданностей. Не каждый выдерживал срок учения. Нравы, утвердившиеся в белоусовской мастерской, ничем не отличались от других заведений такого типа. Мастерам не возбранялось бить учеников за всякую провинность. В «программу» входили всякого рода «предметы» от ухода за скотом до выполнения насмешливых прихотей старших.

Таких мастерских в одном Палехе насчитывалось свыше десятка: Нанькинская, Короваковская, Париловская... В соревновании друг перед другом, в стремлении заполучить себе поболь-

ше покупателей каждая группа иконописцев изготавливала товар на свой манер. Так велось исстари. В памяти старожилов сохранились разные случаи. Один священник отказался служить в храме, расписанном палешанами в духе крестьянских хороводов... Из 844 палехских икон священный синод разрешил к продаже лишь 36. В остальных были замечены разного рода отклонения, «не способствующие укреплению веры». К началу нынешнего столетия конкуренция между иконописцами-кустарями приобрела сатанинский размах, и отцы церкви забили тревогу. Богоугодное дело превращалось в свою противоположность. Разумеется, не в технике изображения святых, а вольной трактовке библейских сюжетов.

Чтобы спасти дело и потеснить кустарные мастерские, в Палехе открыли иконописную школу комитета попечительства русской иконописи. Учение в этой школе велось в определенном русле казенных школ. Здесь осваивали разнообразные сведения из истории древней живописи и много рисовали с натуры. Среди наставников были люди из Академии художеств.

Коля Зиновьев оказался среди тех, кто перебежал из частной мастерской под новую крышу. Мальчишки узнавали, что в школе не бьют, и этого было достаточно. Через четыре года Н. М. Зиновьеву присвоили звание мастера-иконописца, выдали свидетельство.

О наблюдениях детских лет в дневниках народного художника сохранилась запись: «Когдаходишь, бывало, в Палех, то неожиданно встречаешь выходящего из ворот мужчину с истощенным лицом, на голове волосы прижаты веревочкой; длинная борода, фигура несколько сгорблена. На нем плисовая рубашка, фартук с нагрудником, запачканным разными красками, на лбу очки. Это иконописец, работающий на дому, вышел подышать свежим воздухом».

Годы учебы Коли Зиновьева, по-своему трудные, перемешанные пестрыми переживаниями от нудной зубрежки закона божия и увлекательных бесед о законах искусства, украшала трогательная мальчишеская дружба с Пашей Кориным, будущим знаменитым советским живописцем. Павел учился в соседней группе.

— Как сейчас помню,— рассказывает Николай Михайлович,— за школьным столом худенького, тихого, скромного мальчика в ситцевой рубашечке горошком, в узких брючках, босиком... Я знал старый дом и семью, в которой он родился и вырос. Ни в одном доме Палеха не прочитано столько книг, сколько прочитано в доме Кориных.

После уроков будущие «богомазы» катались на самодельных лыжах с горки у Крестовоздвиженского храма, росными зоря-

ми бегали по луговой пойме с удочками, водили коней в ночное...

На всю жизнь эти два замечательных человека сохранили привязанность друг к другу, хотя пути в искусство их были непохожими. Николай Михайлович многие годы отдал семейному ремеслу, разумеется, восходя год от года к определенным высотам и в росписи храмовых стен и в реставрации фресок. Икона оставалась для Зиновьевых таким же подспорьем, каким был сев проса и возделывание картошки на родительской полоске, у дедовской усадьбы. Павел Дмитриевич тяготел к станковой живописи, горячая мечта сызмальства влекла его в большие города, где были художественные училища.

Нельзя объяснить простой случайностью, что жизненные пути молодых живописцев-односельчан и тогда надолго разлучали их и сводили вновь.

В послужном списке Николая Михайловича есть запись: «С 1907 по 1911 год работал на частном предприятии у Малова М. В.». Это была заурядная иконописная мастерская в Малаховке, под Москвой. Купец Малов разбирался в живописи, настоящим мастерам платил не скупясь, но человеком был вздорным и своенравным. Любил покуражиться. Однажды ему на глаза попался русоволосый юноша, приехавший повидаться с Зиновьевым. Это был Павел Дмитриевич, скитавшийся тогда без работы. Хозяин мастерской внял добрым словам Зиновьева о своем одаренном друге, но решил испытать способности прищельца. Картина П. Корина приглянулась купчику, и он готов был уже зачислить новичка на жалованье. Но внезапно, как случилось не раз, хозяину пришла в голову дикая мысль.

— Сходи-ка, парень, на край поселка,— сказал он юноше,— принеси свежей земли... Кустики в палисаде присыплешь...

Павел Дмитриевич с возмущением отмел унижительный приказ работодателя.

— Я художник! — оборвал Корин наглеца. — В Москву приехал учиться живописи, а не потакать прихотям невежд...

Николай Михайлович присоединился к этому протесту. Рискуя потерять обжитое место, он высказал Малову свое негодование постыдным испытанием на покорность.

Места в мастерской П. Корину, конечно, не дали.

Запомнился Николаю Михайловичу и еще один случай, характерный для высокой нравственной атмосферы всей семьи Кориных.

Брат Павла, Михаил Дмитриевич, тоже очень способный живописец, мечтал поступить, как это сделал уже Павел, в художественное училище ваяния и зодчества. Но Михаилу тогда обидно не везло. И первая и вторая попытки его пройти

творческий отбор приемной комиссии оказались неудачными. Николай Михайлович часто видел братьев, горячо обсуждавших результаты конкурса, пытался утешать земляка. Но тот не признавал к себе жалости.

В этом же училище преподавал двоюродный брат Павла и Михаила, известный в то время художник Алексей Корин. Совершенно случайно узнав о стремлении племянника, он принял по-человечески сочувствовать ему и обронил неосторожную фразу:

— Ты, Миша, открыл бы мне девиз, под которым представлял свою работу на конкурсе... Может, удалось бы замолвить слово..

— Нет! — воскликнул Михаил.— Лучше я никогда не поступлю в училище, чем попасть в него таким образом... Лучше я пять лет кряду буду приносить туда новые полотна! Лучше...

Возбужденного юношу едва удалось успокоить. Перебиваясь случайными заработками, Михаил упорно овладевал рисунком. Ему в самом деле пришлось два или три раза потом сдавать свои пробы на конкурс, пока их не оценила по достоинству приемная комиссия.

Об этом случае Николай Михайлович любит вспоминать в кругу нынешних студентов. Иногда прибавляет со стариковской лукавинкой:

— Замечая подчас: иные из вас на экзаменах заглядывают в шпаргалки, запросто принимают помощь. Нормой поведения русского интеллигента всегда была прямота, честность, упование только на свои способности...

Таким путем шел весь долгий путь в искусство он сам.

* * *

За рубежом в свое время раздавались резкие суждения о судьбах нашего народного искусства. «Русская культура должна погибнуть неминуемо под русским лаптем»,— пророчествовал норвежец Кнут Гамсун. Ему послали шкатулку Ивана Зубкова, расписанную на тему «Золотая рыбка». Гамсун не поверил, что это выполнено руками лапотников, и по тряской тогдашней дороге на перекладных добрался до отдаленного русского селения. Норвежец извинился за свои прежние суждения о народном искусстве Страны Советов.

То были первые шаги прежних иконописцев по новому, не избитому исканиями пути. После промышленно-художественной выставки в Париже в 1925 году, где мастера русской миниатюры получили Гран-при, о Палехе в полный голос заговорила мировая пресса. Последовали выставки в Италии, Японии, Канаде, Америке.

Николай Михайлович Зиновьев не причисляет себя к зачинателям нового искусства, хотя по личному вкладу в это дело закономерно считается фундатором его. К содружеству мастеров миниатюры он примкнул несколько позже, чем первые энтузиасты. Такая его медлительность объясняется двумя основными причинами.

Тяжелыми выдались для семьи Зиновьевых первые послереволюционные годы. Иконы не пользовались спросом. А тут заболел отец. На руках Николая Михайловича оказалась семейка в одиннадцать едоков. Подобно многим землякам-иконописцам Николай Михайлович обзавелся неприхотливой конягой, сколотил землепашеский инвентарь. Сферой его искусства на долгие годы стал небольшой шмат земли за родительской оселей. Неширокая травянистая межа отделяла владения Зиновьевых от надела семьи Дмитрия Буторина. Дружок детства и отхожих промыслов, будущий заслуженный художник Д. Буторин властным голосом понукал своего одра, в минуты роздыха перекидываясь словом с соседом о стоимости семян на рынке, о видах на урожай.

То были странные гречкосеи. Отпустив коней пощипать свежей травы у Люлеха, они писали этюды или сходились на конце гонов потолковать о полотнах Врубеля, Нестерова, о «Троице» Рублева, грустно мечтали о настоящем занятии своим руками. Домашние не считали причудой, если кто из таких хлебопашцев в разгар деревенской страды вдруг оставлял борозду и кидался к заветному уголку, чтобы набросать яркую деталь, посетившую чуткое воображение.

Обозревая выставку изделий палешан той поры, поражаешься обилию сюжетов, связанных с полевыми работами крестьян, с лошадьми, гулянками и обрядами. Благодаря красоте линий, игре красок, музыкальности ритма композиций, изяществу отделки изнурительный крестьянский труд на этих картинах выглядит не угнетающе, а скорее наоборот — симфонией богатства и разнообразия человеческой жизнедеятельности.

На пышных ярмарках, которыми всегда отличались Палех и Шуя, Николай Михайлович видел, как некоторые прежние иконописцы торговали сундучками, коробичами, расписанными под какой-нибудь затейливый сюжет из народной бывальщины. Их раскупали ради забавы детям. Временами среди аляповатых набросков кустарей попадались мастерски выполненные картины. Плата была одна и та же: десяток яиц или кошелка картофеля. Особенно много таких изделий стало появляться, когда из отхожих промыслов в Палех вернулись И. Голиков, И. Вакуров, А. Котухин. Красочную роспись они сделали своей основной профессией. Люди творческие, неутомимые в исканиях, они ин-

туитивно набрали на способ соединить лаковую живопись древнерусских мастеров с композициями на темы сказок, осваивали современные сюжеты. Успех пришел как-то неожиданно. Постепенно и другие мастера кисти приобщились к искусству миниатюры. Общими усилиями, индивидуальным почерком каждого в этом общем стиле, разнообразием сюжетов и яркостью воплощения они создали мировую славу русской миниатюры. Успех в Париже был, по существу, первым признанием за рубежом народного искусства Страны Советов.

В Палехе появилась художественная артель по росписи миниатюр. Ее создали энтузиасты под руководством Ивана Голикова. Друзья упорно звали к себе талантливого Николая Михайловича, обещали поделиться секретами работы на папье-маше. Однажды наш земледелец расписал бытовыми сценками узкую полоску картона, вырезанную в форме ножа. Главе артели Голикову проба показалась удачной. С присущей людям тех мест прямоотой и душевностью основоположник нового искусства обласкал Зиновьева, заохотил к продолжению поисков. Очередная композиция «Гулянка» была вынесена на художественный совет и нашла сбыт наравне с другими оригинальными произведениями.

— Где сейчас ваша «Гулянка»?

Подобные вопросы, как я убедился со временем, не случайно смущают палешан. Представив на художественный совет свое произведение, как правило, выполненное в одном экземпляре, автор навсегда прощался с ним. В прежние времена даже фотоаппарата артель не имела. Впрочем, любительский черно-белый снимок не передает и десятой доли красоты, заложенной в цветном рисунке. Работа упаковывалась и исчезала. Хорошо, если о ее судьбе узнавали из репортажа с выставок или знакомый рисунок вдруг мелькнет на вклейке зарубежного журнала...

Письменный прибор Н. М. Зиновьева, состоящий из 11 предметов и оформленный на тему «История Земли», принес художнику мировую славу. Сейчас уникальное произведение это экспонируется в Третьяковке. На многих плоскостях и гранях прибора образно передается история возникновения жизни на Земле, воспеваются разновидности трудовых занятий человека. Глядя на волшебную игру красок, поражаешься фантазии и смелости воображения художника, устремившегося в далекое прошлое по следам научных гипотез. Композиция эта читается как яркая приключенческая книга, в ней будто звучит симфония отлетевших тысячелетий.

В Третьяковской галерее нашли достойное место и еще несколько выдающихся произведений художника: шкатулка

«Штурм Измаила», чайница «Бурлаки на отдыхе», платочница «Оборона Ленинграда». В Музее Революции — «Праздник урожая», в Русском музее в Ленинграде — «Пионеры на воскреснике», в Пушкинском доме — «Семь выдающихся произведений А. С. Пушкина». Память старого живописца бережет несколько десятков названий композиций, находящихся в пределах видимости. Сам он был удивлен количеству сделанного за четыре с лишним десятка лет, когда друзья к его юбилею перелистали протоколы художественного совета. Только в дневнике совета упомянуто более 300 его оригинальных произведений! Большинство ушло через «Внешторг» за границу.

В 1937 году за несколько работ, представленных на парижскую выставку, Н. М. Зиновьеву присуждена персональная высшая награда Гран-при. Основным произведением художника из России, привлечшим внимание любителей искусства, была композиция на тему романа Анри Барбюса «В огне». На небольшом подносе, размером в обыкновенную тарелку, автор цветного изображения вместил сотни образов людей разных возрастов и сословий, множество картин, связанных с войной, передал во всей глубине человеческие страдания. В эту уникальную по выразительности и технике исполнения работу автор вложил созвучное своему времени идейное содержание. «Сейчас, когда фашизм готовит новую бойню, — писал, готовясь к выставке Н. М. Зиновьев, — я считал своим моральным долгом художника напомнить нашим советским людям и тем, которые будут смотреть парижскую выставку, об ужасах войны, о необходимости всеми средствами бороться против поджигателей войны — фашистов».

Время со всей полнотой подтвердило тревогу художника и гражданина за будущее своей страны и всего человечества. Не прошло и четырех лет, как фашизм напал на нашу страну. На фронт ушли все без исключения палешане, способные носить оружие. Двадцать восемь профессиональных живописцев не вернулись в свои мастерские. В их числе родной сын Николая Михайловича, Виктор, и зять Павел Баженов. О последнем до сих пор говорят как о выдающемся мастере, достигшем ярких успехов еще в юношеские годы.

Глава большого семейства, обладатель Гран-при, член художественного совета, преподаватель училища, пожилой человек Николай Михайлович Зиновьев в это время был избран председателем колхоза в родных Дятилах.

Двенадцать лет затем Н. М. Зиновьев был директором Государственного музея палехского искусства, совмещал организаторскую работу по собиранию разошедшихся по стране сокровищ живописи с преподаванием в училище.

Работает с кистью Николай Михайлович последние годы на дому. В Палех, по его признанию, лишь навещается: дважды в неделю читает в художественном училище лекции по теории рисунка, один раз ходит на художественный совет, разок-другой позовут туда дела общественные. Чтобы не позабыть чего, на стене в домашней мастерской висит перепечатанная на машинке памятка мероприятий на месяц вперед. Лист бумаги заполнен сверху донизу. В каждой строке шесть километров — три туда, столько же обратно...

— А все остальное время дома,— с улыбкой говорит он.

Домашняя мастерская народного художника — небольшая комната с кирпичной трубой у входа. И с улицы заметно, что у этой комнаты самое большое окно.

Вдоль подоконника длинный незастланный деревянный стол. Уставлен он крохотными чашечками для красок. На блюде — гусиное перо, кисти, волчий или кабаний зуб, которым живописец шлифует позолоту миниатюр. На стенах несколько картин «Распятие», чудом уцелевшие со времен учебы юного Зиновьева в иконописной школе, эту же маслом с изображением клочковатой копенки сена в полукружии увядающего осинника. «Не своими ли руками сложил копенку перед тем, как написать ее?..» Акварели сына Виктора, старшего лейтенанта, погибшего в войну, несколько фотографий: милые скуластенькие мордашки внуков и правнуков.

Николай Михайлович показывает готовые работы последнего времени. Среди них тарелка с красочной импровизацией по мотивам произведения Н. А. Некрасова. В центре картины — оригинальный портрет поэта.

— Моя тема! — с теплинкой в выпцветших глазах говорит он. — Много приходилось писать о малышах, да и о крестьянских детях по Некрасову пишу не впервой, а все тянет к себе ребятня...

На столе я увидел две только что законченные шкатулки: красочная импровизация на сюжет сказки «Конек-Горбунок» и расписанная золотом «Жар-птица». Перехватив мой взгляд, устремленный на затейливый, переливчатый орнамент второй шкатулки, Николай Михайлович сказал, улыбаясь:

— Правнучке на именины!

Сколько радости и очарования доставит ребенку этот уникальнейший дар! Можно не сомневаться в том, что именинница не останется равнодушной к красоте, а ряды почитателей искусства пополнятся еще одним человеком.

Над потрепанной книгой «Вселенная и человечество» — современный изящный светильник. Книга раскрыта на странице

об ихтиологии. Вместо закладки — художественная пластина, а на ней бездна мерцающих звезд, глубинная синь галактики, в газовых струях искристый огненный шар...

— История Земли? — не удержался я от вопроса.

— Да, — ответил художник. — Только уже в иной гипотезе.

Николай Михайлович любит книги, внимательно следит за новейшими научными открытиями. Он поклонник теории академика Амбарцумяна о происхождении планет Солнечной системы. В прежнем варианте его композиции на эту тему отдельные элементы не совпадают с новейшей гипотезой, и народный художник на семьдесят девятом году жизни, чтобы не показаться старомодным, задумал переписать многоплановую композицию заново. Будет восемь таких пластин, как восемь глав единой поэмы. Вглядываясь в уже готовые пластины, с необыкновенным тщанием и изобретательностью прописанные в цвете, невольно приходишь к мысли, что рождается новый шедевр, который, вполне возможно, станет достойным завершением более чем сорокалетних поисков и открытий автора.

Жажда новых видений привела Николая Михайловича недавно в Забайкалье.

— Взглянуть захотелось на тайгу, — вспоминает теперь, довольный. — Люблю Байкал по книгам, давно манила к себе сказочная та земля.

Не к чужим ехал, свои звали. Живет в той стороне после окончания технологического института внучка Нина, дочь Павла Баженова. За деда и за отца ей был Николай Михайлович. Когда художник засобирався в дальнее путешествие, врачи намекнули на диету, напоминали о возрасте. Мечтательный человек перехитрил свои немочи по части питания.

— Купил большущий арбуз в Москве, хлеба белого впрок... Так и доехал на арбузе... В тайгу ходил, как же иначе? Однажды по просеке добрался до главной Ангары... С Байкала на винограде продержался.

В дороге вспомнилось былое.

В прежние, не столь уж отдаленные годы Николай Михайлович был еще более непоседлив, охоч к новым местам. Он восстанавливал фрески в Успенском соборе Московского Кремля, выполнял заказы для Петергофского дворца, расписывал стены Ново-Афонского монастыря близ Сухуми, оставил о себе память в Ленинграде, Анжеро-Судженске, Махачкале, Баку — оформлял дворцы и клубы.

Самым любимым его путешествием остается пешее хождение на работу из Дягилей в Палех. Вот Николай Михайлович приближается к белому двухэтажному зданию. Сорок лет он здесь преподает технику палехского искусства.

На улице свежо, пахнет прогретой древесной корой, липкой первой зеленью. Лужицы воды в колдобинах искрятся от солнца, слепят глаза. Николай Михайлович привычным движением отряхивает плащ, вытирает ноги. В эти минуты он похож на дальнего путника, переступающего порог святыни. В этом сравнении нет ничего дивного. Если сложить пройденное за сорок лет от Дягилева до Палеха, получится дорога, равная протяженности Земли по экватору. А дело, которому служишь всю жизнь, не может не считаться священным... Двадцать деревянных подносившихся ступенек ведут в аудиторию на второй этаж. Там ждут его всегда молодые люди, встречают зоркими улыбочивыми взглядами. Немного глухим, уверенным голосом Николай Михайлович начинает свой очередной рассказ о прекрасном.

Неизбежный вопрос о любимых учениках не очень по душе искусствоведу и воспитателю.

— Всем хочу помочь в меру сил... Мир людей так же разнообразен, как и мир самых сложных композиций... Есть студенты одаренные, случались и попроще...— Художник избегает резких оценок. Не сразу переходит к именам. — Тамара Зубкова, Анна Котухина, Борис Немтинов... Эти уже заслуженные. Вот помоложе: Борис Ермолаев, Олег Платонов, Кочупалов.

Чтобы не показаться слишком благополучным в сложном деле воспитания молодежи, рассказывает о недавнем «конфликте» с одним одаренным, но увлекшимся новациями студентом. Принес юноша пластину: не миниатюра, не панно — фигуры, сантиметров по шестьдесят, выполнены кое-как, однако с явной претензией на оригинальность. Эскизно, без технической проработки. Пришлось об этом прямоком сказать «новатору».

— Техника!.. Традиция! — Юноша был явно не в духе.— Надоело! Сто лет на одном и том же сидим!

— Не сто, а триста,— спокойно поправил студента народный художник.— Стилль древнерусской живописи палешане берегут триста лет, а может, и более того. Настало время, иконное ремесло преобразовали в самобытную ветвь национального искусства, получили всемирное признание. Все косное отбросили, а технику сохранили и развили. Без своего стиля не будет Палеха, как немислим истинный художник без овладения техникой живописи.

Немало заботы у членов художественного совета. Сорок лет пребывает в этом руководящем творческом органе Николай Михайлович. Каждое произведение, будь то миниатюра или полно, выполненное на заказ, проходит через бережные руки народного художника. Как и в прежние годы, большинство работ идет за границу.

Было бы ошибкой представлять нынешний Палех некоей обособленной, замкнувшейся в рамках традиций и засекреченной мастерской по изготовлению дорогих безделушек. В просторных, хотя и несколько устаревших по мебелировке комнатах, за невысокими столами — по два-три человека. Они, похоже, привыкли к частым визитам посетителей и обычно не откликаются на стук дверей, не реагируют на изумленные восклицания, сдержанный шепоток за спиной. Разве кто из них полуобернется, поворачивая изделие в руке или макая кисть в чашечку с краской. На вопрос о секретах мастерства недоуменно покачивают плечами: «Сразу не поймешь!» — или, как сказал один пышноволосяй брюнет с бакенбардами: «Мы его сами не знаем до окончания работы!»

Художник и поэт, выпускник Литературного института Кочупалов любезно провел меня в мастерские, на ходу выдавая кое-какие сведения из истории строительства здания и о планах его переоборудования. Здание напоминает общежитие с длинным коридором и множеством комнат. В одном из творческих отсеков я увидел три стола, над которыми склонились мастера миниатюры. Здесь же, осторонь от входа, у задней стены, напротив окна, выставлено большое полотно. На холсте контурно проглядывает рисунок на сюжет русской сказки о Емелюшке. Некоторые детали, в том числе самодвижущаяся печь и герой сказки, уже были прописаны в две краски. За станком уверенно восседает с кистью в руке красивая большеглазая женщина. Из-под легкой косынки на спину свисла толстая русая коса... Это была Валя Буторина, недавняя выпускница училища. Мне разъяснили, что холсты палешан десятками уходят в детские комнаты дворцов культуры, в санатории, в клубы по самым различным адресам: в Узбекистан, Молдавию, Астрахань, Новгород... Выполняют их, как правило, наиболее одаренные живописцы.

В классной комнате художественного училища, пропахшей масляными красками, я видел тех, кто лишь готовит себя к сложной и вдохновенной профессии. Десятка полтора студентов, среди них три девушки, выполняли очередное задание: натюрморт — кувшин, накрытый куском ткани, фрукты на подносе. Здесь же, на шкафу, рулоны ватмана с изображением натурщика, муляжи. В коридорах училища шпалерами летние работы студентов, нередко довольно любопытные по сю-

жету, — масло, акварель, карандашные наброски. Портреты, вы-
полненные в разной технике.

Этюды — одно из любимейших занятий старого их настав-
ника.

О своих вылазках на природу Н. М. Зиновьев говорит:
— Прежде ходил чаще, сейчас как-то недосуг...

*
*
*

Береза у дома Зиновьевых чем-то напоминает дерево бед-
ных на усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Не внешни-
ми очертаниями, разумеется, не породой растения, а своим на-
значением привлечь дальних путников. В прохладной тени под
кроной можно остановиться на минуту, чтобы унять неизбеж-
ный стук сердца перед встречей с желанным человеком. Имен-
но в такие минуты приходят на память крылатые слова
М. Горького: «Человек создан для легенды о нем».

Преувеличивать или же преуменьшать реальность — одно
из загадочных качеств человека. Самое удивительное в нынеш-
ней жизни народного художника Н. М. Зиновьева, пожалуй,
то, что он, возвысившись делом рук своих до мастерства миро-
вого класса, ничего не потерял из тех исконных душевных
ценностей, которые присущи жителю русской глубинки. В ду-
ше он остался человеком от земли, крестьянином.

Через распахнутую форточку окна домашней мастерской
льется птичий щебет, прожорливые скворцы рвут с веток клей-
кие сетчатые листки. Прогретая пашня дымится синеватым ко-
стром испарений. Художник не усидит в такие дни над шкатул-
кой. Что-то будет мешать ему сосредоточиться над компози-
цией, скоро он поймет, что нынче работа с кистью просто не ла-
дится. Не раз он выйдет в огороды, потопчется на просохшем
взгорке у бревенчатой баньки, разомнет между пальцев терпко
пахнущий комок земли. Скоро земля пробудится ото сна, заго-
ворит на своем языке, запросится родить. Поля окрест покроют-
ся бархатистыми коврами зелени. Не ожидая, когда сын Пар-
мен, художник, выберет время прийти из соседнего села на по-
мощь, Николай Михайлович отыщет в сарае лопату, взрыхлит
слежавшуюся землю, распушит ржавыми от времени, может,
еще отцовскими граблями грядки под рассаду. Супруга, Алек-
сандра Алексеевна, опустит в теплые лунки приготовленные с
осени картофелины с проклюнувшимися желтыми глазками.
А потом супруги будут выходить на заре и нетерпеливо погля-
дывать на грядки в ожидании всходов...

В мою бытность в Дягилеве торопливый шофер посбрасывал
с машины на землю под березой крупные поленья. Кто-то из
молодых гостей кинулся было к поленьям, чтобы перетаскать

под навес сарая Николай Михайлович с ревнивой поспешностью остановил добровольца.

— Не обидьтесь,— сказал он извинительно, но и не без торжества в голосе,— только дело это мое — дрова пилить и колоть. По душе мне это... Покамест справлялся...

Поддается уверенным рукам живописца и еще множество дел на подворье. Не ждет работающий человек подмоги, когда разглядит подгнившее бревно в сарае, сам стучит топором, охорашивает забор, подбивает скосившиеся опоры в погребе.

Под тенистой кроной в былые годы собирались на беседу журналисты, литераторы, местные руководители. К молодому тогда стволу дерева привязывал своего корреспондентского коня Ефим Вихрев — писатель и сотрудник областной газеты «Рабочий край». Здесь обговаривали рукопись книги о палешанах. Каждый что-нибудь да писал тогда о Палехе. Больше всех, конечно, Е. Вихрев. Книгу его неожиданно похвалил А. М. Горький, щедрыми словами: «Книга — отличная, а то, что Вы написали ее — большая Ваша заслуга перед самобытным искусством прекрасных палехских мастеров». В сборнике том немало горячих страниц о человеке, живущем в доме с березой.

Под этим безымянным деревом не однажды сидел в предзакатный час с карандашом и блокнотом в руках поэт Владимир Луговской. Родившиеся здесь же строки он читал раскатым баском в гостиной дома, а то и на пикнике в рощице. Николай Михайлович навещал поэта в его московской квартире, звал многих завсегдаев дома Луговских.

По знакомой тропе детства, искоженной босыми ногами друзей, чуть не каждое лето приходил отяжелевшей уже походкой Павел Дмитриевич Корин, а с ним нередко Юрий Непринцев с супругой, искусствоведом М. Тихомировой. Нередко звучит в доме художника и иноплеменная речь: едут коллеги из Варшавы, Берлина...

* * *

Иных уж нет... Приходится думать и о возрасте. После того, как друзья отметили его 75-летие, Николай Михайлович стал все чаще задумываться о пережитом, о тех дарах судьбы, которыми наградила его жизнь во время встреч с интересными людьми в искусстве, о выдающихся явлениях в современном художественном мире. О Палехе написано немало книг, защищены диссертации. Исследование творчества мастеров миниатюры продолжается молодыми научными работниками. Но все это относится в большей или меньшей степени к объяснению идейно-художественного содержания, значимости творений палешан, к определению места их искусства среди других видов живописи.

Николай Михайлович задумал рассказать о самом процессе создания композиций, о секретах мастерства наиболее выдающихся, самобытных художников. Конечно же, это мог сделать лишь тот, кто сам овладел высотами мастерства и смог любовным взглядом проникнуть в тайны других, разгадать секреты волшебной работы над красочной миниатюрой.

Свой многолетний труд Николай Михайлович начал с того, что воспроизвел в цвете 34 самых выдающихся произведения собратьев по творческому цеху. Рисунки сопровождал беседами об истории возникновения каждого из них, о технике изготовления драгоценных шкатулок и ларцев. Такая книга нуждалась в особом оформлении, и автор неторопливо изготовил все, начиная с обложки и кончая заставками и концовками. Сюда же вошло 28 новых каргин автора и тщательное описание собственных методов владения тонкой кистью. Уникальный труд этот был отослан издательством «Художник РСФСР» в Будапешт для полиграфического исполнения. Огромный, самозабвенный труд потребовал от народного умельца необыкновенной сосредоточенности и расчетливости во времени. Нелегко было уже потому, что все это время Николай Михайлович не покидал работы в училище. Вспомним и о пеших переходах с затратой времени и физических сил. Открытое поле заливают дожди. Бьет в лицо встречная вьюга.

— Лишь один раз на веку, в прошлую лютую зиму, попросился подвезти,— с лукавинкой в голосе говорит старый человек,— но шофер спешил по своим делам, не остановился...

В книгу вошли беседы о древней русской живописи, о зарождении национальной миниатюры, о путях ее признания в стране и за рубежом, о наиболее ярких представителях тонкой кисти: Иване Голикове, Иване Зубкове, Иване Вакурове, Иване Маркичеве, Аристархе Дыдыкине и других.

По плану издательства «Художник РСФСР» книга эта из-за сложного полиграфического исполнения должна была выйти лишь к концу года. Но полиграфисты венгерского издательства «Кошут», очарованные уникальной работой русского художника, прислали письмо, в котором обещали выполнить заказ раньше срока...

Особое качество книги — теплота ее строк, улыбочивость взгляда на работу других. Впрочем, душевная щедрость была и есть национальная примета русского характера.

После въедливых перепалок в столичных творческих клубах здешняя атмосфера взаимного доброжелательства и радения за успех ближнего оказалась мне предельно насыщенной воздухом добра и взаимопонимания, так необходимых для морального да и физического здоровья всем, кто работает в творче-

ском цехе. Нельзя не позавидовать уважительному тону, с каким палешане говорят о произведениях друг друга, о вкладе в общее дело тех, кто уже умер или отошел в сторону по манере живописи, тех даже, с кем говорящий решительно не согласен в направлении поисков. Среди сотен и тысяч прошедших через их руки изделий они помнят все настоящие удачи, возвышающие их школу в целом, знают особенности исполнения, примененные мастером в данном случае, помнят о судьбе шедевров.

Характер такого бережного отношения к славе собратьев в завидной полноте раскрылся мне, когда я, с любезного согласия автора, ознакомился с отдельными главами тогда еще не вышедшей книги Н. М. Зиновьева «Искусство Палеха». Книга эта, несомненно, привлечет сердца людей, любящих национальное искусство, и получит достойную оценку специалистов. Чисто человечески, эмоционально я глубоко приемлю ее весьма доброжелательный тон, подкрепленный заботливым вниманием выдающегося мастера к индивидуальной разновидности приемов работы других мастеров, классиков миниатюры. Вот несколько кратеньких выписок из сохранившихся конспектов бесед: «И. И. Голиков в основу своего искусства заложил традиции древнерусской живописи строгановского стиля XVII века. Характерные черты: яркость цвета, мелкая роспись контуров и складок одежды, светлые лица с резкими бликами на головах, насыщенность золотых и серебряных пробелов и орнаментальных украшений...» Начав суммарно с нескольких общих фраз, автор исследования переходит затем к раскрытию техники, будто снимает на глазах читателя один за другим тончайшие слои лака, сматывает в клубок нити красочных линий, убирает позолоту, оставляет художника в задумчивости перед серым куском картона, чтобы потом такими же резкими и точными бросками возвратит все на свои места... «Творчество И. М. Баканова,— пишет в очередном разделе Н. М. Зиновьев,— значительно отличается от творчества И. И. Голикова. Он шел от фресковой живописи Спаса-Нередицы, рублевских фресок...» И снова бережное движение любящего глаза вслед за рукой художника, овеществленного в зрительном образе, в тысячах его видимых и невидимых прикосновений кисти к лаковой поверхности изделий. «Работа И. П. Вакурова,— продолжается разговор еще об одном самобытном умельце,— значительно отличается от творчества И. Голикова и И. Баканова». «А. А. Дыдыкин особо индивидуален»,— подчеркивает автор. В глубокой, четкой, профессиональной характеристике почерков современников хорошо виден почерк и самого автора книги.

Предисловие к Главной книге друга детства незадолго до своей кончины написал лауреат Ленинской премии Павел Корин.

«Книга одного из старейших выдающихся мастеров палехского искусства, Н. М. Зиновьева,— заключил П. Корин,— дает полное представление о приемах и технике иконописи и развитии советского палехского искусства.

Правдиво и убедительно переданы дух и быт старого, дореволюционного Палеха и охарактеризовано его новое искусство».

В день, когда я уезжал из Дягилева, Николай Михайлович пришел с заседания художественного совета расстроенным, замкнутым. Нехотя он рассказал о том, что палешанам отказано в росписи кино-концертного зала новой московской гостиницы «Россия»... Кому-то угодно было в последний момент отнять заказ у палешан.

— Мы хотели превратить этот зал в настоящий музей русского искусства,— с обидой говорит народный художник.

Как сейчас слышу немного глуховатый, но отчетливый, неторопливый голос человека, прожившего в своей деревенке восемьдесят с лишним лет и не уставшего любить каждое строение в округе, каждую тропинку в поемье трех речек.

— Как солнышко зайдет за елошник, а из Люлеха столбами роса все шире и шире... И из Палешки и из Демидовки... Когда все туманы соединятся, так и чувствуешь, будто одеялом тебя окутало, и воздух все тише и тише, а наш костер все ярче и ярче. Наше любимое «Выплывают расписные Стеньки Разина челны» разольется по нашему берегу Люлеха до села Кузнечихи...

Сейчас, когда вы, дорогой читатель, держите в руках эту книжку с краткими заметками о поездке в одну из русских деревень, над Дягилевым, возможно, ярко синее солнечное небо. Легкий ветерок доносит из поймы запахи цветущего разнотравья и запах жнивья с полей.

Быть может, как раз в этот час из калитки дома с березой неторопливой походкой выходит высокий прямой старик с седыми усами. Вот он приблизился к шоссе, стал на обочине, пропуская бегущую мимо попутную машину. Вот ему приветливо кивают из кабины, замедляя ход. Но старик, пряча в усы улыбку, идет себе дальше.

Если вы встретите этого путника, поклонитесь ему. Он уже совершил настоящий подвиг во славу своего народа и продолжает этот подвиг. Он несет людям радость.

КОНОПЛЯНЫЙ БОГ

В предвечерье, когда сморенные трудным днем и жарынью люди сошлись в избу посумерничать, с улицы донеслись резкие звуки трещотки и глухие удары о днище дырявого таза. Под-

держивая на бегу штанишки и вопя, мимо окон метнулась стайка мальчишек.

— Птицы на коноплянице!

Мы с братом побросали на стол ложки и вымелись за порог, не желая отстать от сверстников. Где-то в конце огородов мы настигли старика, он тяжело дышал и часто спотыкался, путаясь босыми ногами в подсохшей ботве картофеля. Иногда он падал, но и лежа вздымал над грядками ребристую деревяшку, вокруг которой с бесовским треском вращалась крыльчатка, похожая на игрушечную лесенку. Слезающиеся, но не потерявшие угольного цвета глаза старика были устремлены на темный косяк посевов, поднявшийся в рост всадника сразу за выбитым копытами лошадей проселком.

В тихую подзакатную пору, когда на деревьях не вздрогнет сомлевший от духоты лист, коноплянице шевелилось, шуршало, потрескивало сломанными стеблями растений, переживая налет оматеревших за первые месяцы лета, лоснящихся от жира птиц. Здесь были не только скворцы. Полакомиться зреющим пахучим семенем в нашу деревню слетались из близких лесов синицы, щеглы, воробы...

Крылатые разбойники с азартным криком облепляли метелки конопли, гнули их к земле. Мы обрушили на прожорливых налетчиков груды комьев, швыряли в них картузами, свистели, били железными прутьями в худые ведра... От крайней избы, где жил охотник Ерофей, грохнул выстрел берданки. Обнаглевшие птицы присмирели. Затем нехотя начали отдаляться от плантации. Трепещущие крылья их слились в целую тучу. Эта туча за несколько минут пригушила огонь заходящего солнца и скрылась за лесом.

Дед Евдоким, настигнутый нами, успокоился не сразу. Он ушел со своей полоски последним. И после улета птиц он долго ходил по заросшей бурьяном меже, теперь превращенной в тропу, отделяющую его надел от соседнего, вздымал вслед птицам руки и что-то выкрикивал, как всегда, неразборчивое, сердитое.

Мы, мальчишки, в такие минуты не торопились приблизиться к старику, боялись его непонятных ругательств, седых, насупленных бровей, похожих на колючие кусты, сторонились взгляда его темных, пронзительных глаз. Во всей деревне он был самый рослый, высокий, хотя в последние годы, говорили старшие, он заметно усох, стал как бы вращать в землю.

На неширокой полосе, сходящейся под бугор клином, дед Евдоким никогда не сеял ничего, кроме этой длинной, подобно себе, и косматой сверху конопли. За непонятные слова и диковинную преданность одному виду растений, за неизменное сча-

стве урожая на клиновидной полоске в любой год наши деревенские прозвали его колдуном.

Колдуны и колдуньи жили и в других избах. Широкой кудрявой бородой и ясным взглядом черных очей дед Евдоким больше смахивал на образ святого. Поэтому ребятня звала его по своему — Коноплянным богом или просто дедушка Конопля...

Одарив юных помощников кого глиняной свистулькой, кого горстью поджаренного на сковородке пахучего семени, старик неторопким, усталым шагом побрел к своей избе. С утра ему нездоровилось, а то он днюет и ночует поблизости поспевающего урожая...

Деревенька наша, не потерявшаяся меж зеленых и белых горок Дмитровщины, не набрала бы и трех десятков строений. Здесь сеяли рожь и картошку, лен и гречу, драли лыко в окрестных лесах. Помимо этих непременных, извечных забот, для обитателей каждой избы имелось свое, родовое занятие, в котором земляки не уступали друг другу первенства, пришедшего к ним от предков. В одной избе жили отменные бондари, в другой кузнецы, в третьей отличались изготовлением валенок или разведением овец.

Одевались почти все одинаково: мужчины ходили в зипунах, женщины предпочитали шубы яркой расцветки. Бревна на стройки возили из одних и тех же лесов. Однако любой взрослый и малый житель, так же, как и жилища их, отличались друг от друга целым рядом примет, тоже идущих от фамильного занятия.

Женщины в ту пору мочили в зиму яблоки, сушили грибы. И это споконвечное, известное любому делу давалось людям по-разному. У одной молодайки бежит из-под пальцев нить ровная и тонкая, что струна. Другая гонит вервие в детский палец толщиной... Иная несет из погреба миску огурцов — полных, хрустящих на зубах, пряных и ровных, будто сейчас с грядки, а соседка ее, глядишь, потчует гостей и домашних кормит овощем пустотелым и осклизлым, пахнущим немойтой кадушкой вдовавок...

Хлебы тоже пекли в каждой избе из муки, привезенной с ближней мельницы. Но по вкусу, цвету и внешнему виду каравая можно было сразу узнать, на что горазда хозяйка и какое у нее было настроение, когда она месила в кадке тесто.

Издавна у нас, едва поднимемся на ноги, всяк себя сам снабжал обувкой из лыка. И в этом мудреном деле имелся в деревне настоящий глава и знаток первейший. Не помню имени главного лапотника, но в лицо узнал бы. Это был не старый еще человек, вяловатый и тусклый в иных занятиях, однако плетеную обувку его можно было отличить от изделий других ма-

стеров издали на ноге идущего человека. У законодателя деревенской моды обувь получалась глубокой и легкой, расписанной по головке тонкой вязью из краснотала, за которым он хаживал по весне в какие-то другие, известные лишь ему места. Однажды этот заядлый «лаптежник» сработал на спор настоящие мокроступы — так подогнал лыко к лыку в ровной строчке, что и в луже к ноге не проступила вода!

Имелись свои лошадики, способные обуздать необъезженную конягу, свои мастера крыть крыши под глину, свои колесники и картежники.

Ружей на всю деревню не набралось бы и двух путных, но добытчиками полевой дичи считали себя многие, в том числе и мальчишки. Из орехового прута дети совсем без посторонней помощи умели выгнуть лук, конопляная треста годилась на стрелы, если это примитивное оружие умело снабдить гвоздем вместо наконечника. Ко всем этим премудростям деревенского быта, доступным любому и каждому с малолетства, дед Евдоким вроде бы не имел никакого интереса. Преуспевал же он в самой небольшой малости, но заставил вот помнить о себе долгие годы.

Бедовал на старости лет Евдоким в одиночку, супруга его давно жить приказала, и этот ее наказ он исполнял строго — тянул до полной сотни. Дети их, говорят, в немалом числе, выросли и разбрелись по своим стезжам, редко навещали родительскую оселю. Был Евдоким молчалив в обычном своем расположении духа, но не злой. Тихий такой, застенчивый человек. От долгого одиночества привык разговаривать сам с собой. За эту его причуду да за умение во всякий год выгнать в рост коноплю себе под стать, за нежелание поделиться секретом с остальными конопляниками деревенские и окрестили Евдокима злым словом. С годами борода деда стала светлой, затем подернулась прозеленью, и он еще больше напоминал Конопляного бога.

Чтобы побережь свой секрет, а может, подзадорить завистников, старик работал на своей делянке ночью, управлялся с делами до рассвета. Другие лишь собираются, бывало, на пашню, а у деда Конопля растение прет из земли вывернутым полушубком. Удавались посевы и другим землепашцам. В иной год высятся стебли на конопляницах что твой подлесок. У деда или метелка гуще, или пенька мягче, будто пух легка.

— Молитву знает! — шептались старухи. — С нечистой силой спознался!

В плотницком нашем роду не часто удавались посевы. Наслушавшись зимними вечерами всяких толков в избе, я взял себе за правило отираться с теплых дней вблизи дедова подвоя: авось, удастся перенять его молитву!

Поступать так мне было сподручнее, чем иным однолеткам. Дед Евдоким благоволил ко мне, ценил за спокойный, недокучливый характер. Попав в его общество, я не тарахтел попусту, не донимал «глупыми» расспросами, не мешал ему думать бесконечные стариковские думы... Обходились мы редкими словами, проистекавшими из привычных занятий: вязали в пучки метелки семенных растений и собранные в залужье травы, набивали небольшие ящички землей, перемешанной с торфом. Пучки трав он затем развешивал на потолок, вогнав в матицу крупные кривые гвозди.

Иногда он сам являлся за мной. Не переступая порога, с крыльца приносил в разбитую шибку слова, похожие на военный пароль:

— Чибисы прилетели!..

Я скатывался с полатей, хватал что-нибудь из одежды, догонял деда на середине улицы. Чибисами он называл куличи, грубо слепленные из пресного теста и запеченные в духовке. Все недостатки кулинарных навыков старика бесследно исчезали под пряной хрустящей корочкой, которая получалась у него, если густую подливу из тертой конопли сдобрить медом.

Временами я заставлял дедушку Евдокима за этими немудреными приготовлениями. Старик выкатывал из-под лавки темную, побравшуюся трещинами ступу, поднимал ее на попа посередине избы, засыпал в углубление горшок прокаленного в печи семени.

Изба вздрагивала от ударов тяжелого и потрескавшегося толкача. Гулкие удары толкача слышались в то время на деревенских улицах так же часто, как теперь слышны шум радиоприемника или музыка пианино. На все свое время!

Дед Конопля не терпел ни кошек, ни собак. В хозяйстве его водились куры, но и они в поисках корма разбредались по чужим подворьям. Нечастая потребность в яйцах для приготовления пахучей дедовой подливы удовлетворялась с моей несложной помощью: стоило лишь побегать по грядкам огорода или запустить руку между слежавшимися снопами на задворках. Была у него одна несущка — пестрая, с поломанным крылом, которая проявила к Евдокиму непонятную преданность и даже ревность. Она с воинственным клекотом нападала на чужих кур, забредших во двор, гнала их прочь. Но и она однажды пропала, а через некоторое время, к удивлению Евдокима, привела ему четырех длинношеих цыплят, хотя никто не ждал от нее потомства.

За многолетие одинокой жизни Евдоким порастерял из домашней утвари и то скудное имущество, что припасла покойная старуха. В горящую печь дед отправлял выщербленный чугунок рукой, защитив ее большой рукавицей из овчины. Тем-

ная, обгоревшая рукавица да веник из обмолоченной травы — вот и все, что валялось в передней, в избяном углу.

Полю дед протирал сам. В маленьком ведерке с веревочной дужкой я носил ему водицы из речки, а он, опустившись на колени, гнал куском мешковины эту воду от порога к дальнему углу под божницей.

Там постепенно из мышиной щели образовалась воронка с подопревшими краями. Старик ловко маскировал эту промоину ветхой дерюжкой из цветных лоскутов. Однажды я оступился в дыру босой ногой и сдернул с лодыжки кожу. Дознавшись об опасном месте моих гулянок, наш дедушка Данила без спроса пришел в избу Конопля, расширил ножовкой промоину и приколотил гвоздями деревянную латку. Одним заходом он сдвинул и остальные щелистые, громыхавшие под ногами доски. От куска свежей, выструганной шелевки в избе словно повеселело. По этому случаю старики выпили бражки и закусили окаменевшими со вчерашнего дня чибисами.

Дед Конопля несколько дней не застилал ряднушкой обновленное место в полу, показывал гостям. Белое пятно это выделялось в избе очень долго: закрасить его («затереть», говорил дед) было нечем. Из тех немногих вещей, которые надобились деревенскому жителю в обиходе, сам он не силен был вырабатывать разве краску для пола, хотя другие изделия чем-то расцвечивали, возможно, отваром из корья.

Деревянная латка в избе деда Конопля напоминала мне о других прорехах сельского житья.

Не всегда по причине бедности, скорее, от споконвечной крестьянской расчетливости, в хозяйстве сельчан полагалось экономить во всем. На ребячьих портках рачительность старших проявлялась наиболее зримо: мы, огольцы, пестрели от этих затейливых поправок к заношенной одежде, как куропатки. Когда в дом выбирали будущую невестку, наравне с ее сноровкой, способностью вышивать, стряпать, ходить за скотом, угождать старшим и немалым числом иных навыков обговаривалось умение молодой хозяйки чинить одежду. В латках тоже сохранялся некий стиль, отличающий одну семью от другой. Мне до сих пор думается, что цветом и рисунком заплат родители как бы метили своих пацанов, чтобы их можно было с одного взгляда отличить в гурте от чужих, таких же непричесанных, конопатых и сопливых... Латками детвора выставлялась друг перед другом: у кого красивее. К сожалению, ими нельзя было помянуться, а чужая ведь всегда кажется соблазнительнее. Никишова ребятина «клеймилась» синими кусками из холста нового утока; Богачевы израсходовали на поправку обтрепанных сорочек и штанов невесть как попавшую в их сундук поповскую рясу;

стайка Шиловых одно лето выделялась ярко-кумачовыми полосками: этим сокровищем наделила их бабка Ефименья, порезав на куски свадебный подарок деда, принесшего еще в былые времена своей невесте алюю кофту из дальних отхожих промыслов. Завещать кофту не было смысла — воротник поточила моль.

Без латок обходились разве те, кто совсем не имел штанов, бегали до школьных лет нагишом или в длинной рубашке. Но у таких хватало синяков и ссадин, да и следы родительского воспитания на жилистых ногах проступали резче, чем у владельцев грубых заплат. Все равно выходило так на так...

На коленках и сзади латки ставили даже впрок, когда справляя одежду из нового материала. Почему нашивали спереди — легко объяснить. Наколенники до недавней поры пришивали и солдатам. А какая опасность, кроме отцовского ремня, подстерегала непоседливое племя мальчишек сзади — до сих пор не могу осмыслить. Тещу себя убеждением, что слишком практичный деревенский люд ничего не предпринимал попусту или для форсу.

Отличались латки не только цветом, но формой, размером: квадратные, косячком, округлые, будто олады... Встречались и фигурные, наподобие скачущих коней или похожие на облака, разбросанные ветром по небу... Иная подносившаяся одежда начинала свою жизнь заново тоже с латки, удачно пристегнутой суровыми нитками во всю спину или сбоку. К ней затем приторачивали другую или целый рукав, штанину. Если от сорочки оставался воротник, а от портов пояса, они не считались вышившими из игры...

Видел я на каком-то сверстнике настоящее чудо: на месте прохваченного огнем переда сорочки, во весь живот от подбородка до подола сияла желтая тулья от офицерской фуражки, будто на неосторожного забияку снизошло само солнце... Так иногда содеянное родителями в сердцах идет не в ущерб ребенку и не в наказание, а оборачивается для сорванца в настоящую выгоду. Мы сгорали под этим солнцем от зависти и готовы были уступить счастливцу за его латку любое сокровище из тайных ребячьих кладов. Я предлагал ему за днице от казачьего головного убора складной ножик — по тому времени целое состояние..

Наверное, уже давала себя знать, пробивала дорогу к сердцам модников абстракция в живописи, асимметрия в одеждах... Не без грусти приходится наблюдать ныне за отчаянными усилиями городских модниц, делающих разноцветные врезки, вставки в платки и юбки, уродующие обновку линиями косыми, прямыми, поперечными. Старо, милые! Наши рукодельные бабушки умели и не такое! До прежних мастериц по этой части нынешним далеко, как до облаков! Как до солнца!

...Куском фанеры заделывали разбитые шибки окон, золотистыми свежими снопами затыкали провалы в гнилых соломенных крышах, свежей лозой наращивали осевшие плетни, обновляли выщербленную доску в двери и даже бревно под избой. В ином хозяйстве не считали зазорным взбодрить чистым лыком подтершийся снизу лапоть — по суху он мог еще какое-то время служить человеку.

Не без горечи созерцая в мыслях давние картины залатанной со всех сторон жизни деревенской, я думаю об одной утраченной возможности. Как все же мало в отличие от времен поздних было тогда людей конторского, «умственного» труда, тех, что меняют одежды отнюдь не по степени физического износа, кто не терпит морально устаревших пиджаков и брюк. А сколько залоснилось шевиоту, побралось пузырями штанин, пока умудренные их владельцы корпели над составлением программ процветания деревни и ерзали в креслах, споря вокруг всевозможных теорий сельского благоденствия! Какое множество деревенок можно было бы запросто осчастливить «морально устаревшими» костюмами интеллектуалов, вполне пригодными на латки ребятне!

...Как-то в теплую майскую ночь мужики засиделись у нас на завалинке. Дед Евдоким, сославшись на колотье в хребтине, первым заторопился на покой. Звякнула во тьме щеколда, скрипнула дверь. Вспыхнул и вскоре погас желтый огонек в его окне. Стали расходиться по домам и другие участники ежедневных полуночных бесед. Я схватил бабкин рваный полушубок, служивший мне постелью, и прокрался на межу, разделявшую поле деда Евдокима с нашим наделом. Ночь выдалась тихая и теплая, небо весело ярилось звездами. Где-то на краю деревни лениво тьякала собака. Все было тихо, покойно, совсем не страшно, и только лес угрюмо шумел неподалеку, вобрав в себя черноту близкой ночи.

Мне повезло. Когда отблестала за лесом зарница и всю окрестность заткала густая предрассветная темень, на полосу пришел Евдоким. Он опустился на колени, потрогал ладонями теплую, пахнущую прелью землю и засмеялся от счастья. Потом распрямился и крупно зашагал по пашне, раскидывая из лукошка семена и бормоча какие-то слова. У меня пробежал мороз по коже: я отчетливо слышал слыхал дедову молитву! Жадная детская память, как промокашка влагу, впитывала каждое слово, и слова эти были понятны мне, пятилетнему пострелу.. За какой-нибудь час старик дважды опорожнил лукошко и, перекрестившись в сторону леса, двинулся к меже. Нас разделяло с полсотни шагов, встреча была неминуема. Понимая свое преимущество перед глубоким стариком, я дал волю озорству. Во мне взыграла вне-

запная необъяснимая прыть. Подхватив полушубок и сообразив, как поскорее достичь своих огородов, я громко прокричал услышанную на коноплянице молитву:

Сею, сею коноплю,
Будет с пуда по рублю!
Насбираю рубликов:
Внучикам на бублики,
Старой бабке — на платок,
А себе на табачок...
Кто услышит — тот молчок!

Дед оторопел от крика, возмущившего тишину ночи. Молитва укатилась за лес и повторилась там стоусто. Я подпрыгнул на месте и кинулся было к дороге напрямик. Но рваный полушубок предательски обвился вокруг ноги... Моим же полушубком старик накрыл меня, как глупую ночную птицу. Дед был крепок еще, потому что легко поднял свою добычу с земли и посадил в просторное лукошко. Опамятовался я в риге, где Евдоким хранил нехитрый земледельческий инвентарь.

Кричать я боялся, потому что «колдун» в отместку за проникновение в его тайну мог оборотить меня в коноплю, собаку или выставить до заморозков чучелом и держать так в поле, пока не отлетят в дальние страны птицы — самые неумолимые враги его посева.

Старик усадил меня на пук выцветших растений прошлогоднего урожая, подпер кустом слези дверь и зажег с обитым стеклом фонарь. Длинная черная тень старика со всклокоченной бородой металась вслед за ним по стенам риги.

— А ну-ка, шельменок, повтори, что ты там придумал на коноплянице? — прогудел дед, уставившись на меня темными ямками глаз.

— Это не я придумал! — сказал я, колотясь от страха, и на всякий случай заплакал. Дед не поверил слезам, и мне пришлось еще раз, но очень тихо повторить его же молитву.

Старик засмеялся, пристукнул в ладоши.

— Слышал, да не дослышал! При мне осталась главная молитва.

Я решил не сдаваться «колдуну»:

— Нет, все!.. Вот расскажу дедушке Даниле, и у нас тоже вырастет конопля, еще выше...

Старик сел рядом на пересохший и затрепавший, будто на костре, сноп, четко, с веселым удовлетворением произносил слова.

— Твоему деду, — сказал он доверительно, без зависти и злости, — не дается конопля. Она ему — тьфу! — без надобно-

сти. По дереву он мастак... С ним в лес хорошо ходить: постучит палкой по стволу и скажет, на что дерево годится — на балалайку или в печь. Бабка — иное дело, она у тебя тонкопряха, рукодельница... А главная молитва — вот она, ты ее все равно не поймешь, и никто не отымет ее у меня... Не побоишься, если прочитаю сейчас?.. — И он пробормотал что-то невнятное, действительно жуткое:

— Ал-ел-бы-ше-ри ал-аль-чик-ма-ри ал-амой-до-ри-ал-ать-спа-ри!¹

Видя, что я совсем напуган, забавляясь моей растерянностью, он проговорил еще несколько таких же колдовских фраз и вдруг смолк, устало вздохнул. Черные глаза его стали блестящими от набежавшей слезы.

— Ладно, будь по-твоему... Коль не забоялся в таком возрасте пойти к самому «колдуну» в гости, значит, любишь коноплю, сердцем прикипел к моему делу... Так и быть, тебе первому откроюсь — не в могилу же уносить добыток...

Он крикнул, пошарил в кармане, не нашел кисета и, сев поудобнее, заговорил просто:

— Так вот запомни: складуха эта деду не потатчица... Ее я для отвода глаз бормочу на загоне, чтобы в работе спорилось... Вся конопляная история — в семенах да в руках вот этих... Вы где семена сушите?

— На чердаке, у трубы! — ответил я. — А ближе к весне бабушка на печку их высыпает.

— Вот, вот, на печку! — с гневом проговорил старик. — Печка с утра горяча, к обеду, глядишь, остыла... Хлебы пекут — печку раскаляют. На другой день вчерашними щами пробавляются да молоком, а кирпичи холодные... Семя же сугреву вовсе не требует!.. И вообще растение приспособлено само себя и в зиму беречь, прогрев семенам без надобности... Ты его только не застужай слишком, от мороза спаси...

Старик раскидал рядок снопов ржаной соломы, стоявших вдоль стены в риге, и вынес на свет фонаря два пучка рослой конопли, головки у них были обвязаны холщовыми мешочками. Он проворно растер между шершавыми ладонями один такой мешочек и высыпал крупные зерна мне в пригоршню. Я продул семя и отправил в рот. Конопля деда Евдокима была вкусной и пахучей, будто сейчас с поля.

— А зачем же ты ночью сеешь, от людей таишься? — с крестьянской недоверчивостью упрекнул я.

— Земля, внучек, теплеет к ночи, подходит, будто опара в деже... И вода тоже... Небось, сам замечал: речка к ночи будто

¹ Шел бы ты, мальчик, домой спать (искаженное абракадаброй).

кипит, парует... Людской день, стало быть, наш с тобою, к сумеркам кончается, а день земляной до самого утра длится, росую на заре умывается... Ночью земле приходит час родить: она становится теплой, мягкая и пахучая, что твой каравай из печи. Тут и уследить полагается, самый мент поймать, когда семена кинуть в пашню.

Дед Евдоким заволновался, принялся пуще прежнего искать табак: добыл кiset из кармана старой свитки, висевшей на крюке близ двери, подрагивающими от усталости руками высек огня.

— Люди спят, как в сей мент, а я, может, совет держу с землею. Открываюсь ей со своими задумками-болями, а она мне бороздой распахивается, травами шепчет в ответ. Ничего, внучек, нет роднее землицы на всем свете!.. И накормит, и от огня спасет, и на покой примет на веки вечные...

Последние слова старик проговорил совсем тихо, себе, видно, но я их услышал.

Дед Евдоким вскоре умер. Согласно уговору с ним, я никому не выдал его «молитв» и доверительной беседы в риге. Однако пришло время рассказать односельчанам об этом случае. Но конопля в нашей деревне и после моих воспоминаний о беседе в риге лучше родить не стала. Сеяли ее ночью и в дни погожие, приговаривали дедовы молитвы и придумывали свои собственные. В иной год удастся такой, детской руке не достать верхушки, не осилить толстого стебля, чтобы полакомиться семенами... И все же это была не «Евдокимова» конопля!

Позже я не раз ловил себя на мысли, что, может, чего-нибудь не добрал по малолетству, упустил нечто важное из ночного разговора со стариком. Затем пришло убеждение: ко всему сказанному и заказанному, ко всяким научным рецептам и опыту бывалого человека для полного торжества дела требуется тепло человеческих рук, свет влюбленных в работу глаз, огонь сердца... Нужна, наконец, способность разговаривать с землей, доверяться ей и понимать то, что скажет она тебе в ответ... Таким талантом в малом на вид ремесле своем обладал неграмотный деревенский старик Евдоким, соединивший в себе качества колдуна и бога, но оставшийся для меня навсегда просто земляком, работающим, добрым человеком.

КЛИНОК

С утра болели раны. Капитан Алексей Возьянов проснулся в семь, хотя вчера, засидевшись допоздна над тяжелой и непривычной работой с бумагами, тешил себя надеждами «добрать» полагающиеся ему по возрасту часы отдыха в постели.

Проснулся он от тупой, ноющей боли в бедре. За тюлевыми занавесками окон колыхались кроны акаций. «К полудню надует хмари»,— подумал капитан.

Погоду капитан привык узнавать и по домашним приметам. К началу дня Зоя Ивановна, рано уходящая на работу, успевала отутюживать костюмы. Если выпадал сухой, солнечный день, Зоя Ивановна отглаживала китель. Предстояли визиты. Чаще всего начинались они с райвоенкомата, где капитан Возьянов был в комиссии содействия. Затем шел в школу — там у него должностенка покрупнее: заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию. Имеются и другие обязанности: редакционные — он собирает материалы о родной Сотой гвардейской. А там, глядишь, подоспеет время очередной встречи ветеранов войны с допризывниками или придут на огонек возьяновской квартиры давние друзья по госпиталю... На эти встречи капитан является в полном офицерском снаряжении, нередко при всем наличии орденов и медалей. В штатском капитан отдыхал, но отдых этот часто не отличался от обычных дней.

Зоя Ивановна была сегодня дома. Приоткрыла дверь в спальню:

— Леня, к тебе гости!

— Если из Сотой — приглашай в спальню без задержки! — скомандовал капитан.

Но за дверью медлили, слышалось взволнованное сопение. Потом мальчишеский голос доложил:

— Из Богородицкой мы!

И тут же послышался дружный ребячий смех. Капитан тоже засмеялся в ответ, надевая китель.

Школьники, приехавшие ранним автобусом, чтобы застать дома непоседливого человека, сидели на диване, на стульях вокруг стола, стояли у двери.

— Ну, рассказывайте, орлята! — поприветствовал их капитан. Однако он знал: ребята в обществе бывалого человека не разговаривают сами, пока не удовлетворишь их любопытство.

...Да, он помнил Богородицкое, что на Северском Донце. За селом проходила передовая. Наши атаквали непрерывно, но фашисты словно зубами держались за каждый куст, за каждую рывтину. Звеньями заходили на бомбежку бомбардировщики, выковыривали гитлеровцев из дотов. Вдруг один наш пикировщик вспыхнул и стал на глазах притихших от изумления и досады солдат роты Возьянова падать. Из него выбросились два парашютиста. Как назло, ветер тянул в сторону немцев. Парашютистов несло прямо к ним. Еще чуть, и они опустятся за нейтральной полосой. И тогда молодой офицер со своей артиллерийской установкой ринулся в объезд развороченной взрыва-

ми полосы на помощь летчикам. Фашисты, выбежавшие было из окопов, онемели от неожиданности. Несколько метких ударов из спаренной установки по флангам атакующих немцев — и они прижаты к земле. Рывок на сближение — и еще удар! Летчиков удалось отбить. Это был неслыханный, дерзкий поединок. Жители села и бойцы передовой линии надолго запомнили этот случай. Рассказы о смелом офицере сбереглись в памяти старших, и теперь вот красивые следопыты идут по следам живой легенды.

Сегодня завершились поиски школьников — перед ними тот самый офицер, командир установки. Алексей Христофорович показал ребятам орден Славы III степени, «богородицкий» орден. Вручил ему награду не свой командующий, а авиационный генерал В. Судец, приехавший в артиллерийскую часть, чтобы поблагодарить товарищей по оружию. Всех участников дерзкой операции наградил! А с Возьяновым был у генерала разговор особый. На то имелась причина.

Приблизившись к строю артиллеристов, генерал разглядел у одного из них совсем не уставное оружие — клинок.

— Трофей? — полюбопытствовал генерал.

— Вроде того, — застенчиво ответил Возьянов. — Только не с нынешней войны... И даже не с гражданской... Дедушка мой, Юрий Юрьевич, заслужил это оружие за отличие в турецкой кампании. Сыну затем передал, то есть родителю моему, Христофору Юрьевичу... Ну, а после мне клинок достался. Берегу. Работает старинное оружие еще неплохо.

— Сегодня пригодился клинок?

— До клинка не дошло, а вообще жарко было!

О клинке ребята слышали впервые. Они на какое-то время забыли и о летчиках и об ордене, один даже осмелился попросить клинок для школьного музея. Капитан молча снял потускневшее от времени оружие со стены, слегка выдвинул клинок из чехла. Предупредил: прикасаться осторожно, лезвие остро, как бритва... Но в просьбе отказал не без сожаления:

— Все берите, ребята... Редкие снимки военных лет подарю, могу планшет уступить, если не добыли еще... А клинок покамест не могу, нарушу семейный обычай: от отца — к сыну!

Он кивнул в сторону семиклассника Юры, самого младшего своего сына:

— Окажется достойным — он получит. Ну, а уж если на двойки и тройки сойдет, тогда — любому из вас.

Юные гости разглядели на сверкающей боковине клинка фирменный знак уральских оружейников, отчетливо сохранившееся слово «Златоусть» и четыре цифры у самой рукоятки: «1877».

И вот мы с Алексеем Возьяновым в дороге — едем туда.

где родились дедушка его Юрий Юрьевич и отец Христофор, где прошло его сиротское, босоное детство.

Неоглядная ровная степь. Вспаханная, черная, будто упавшая с широких плеч казацкая бурка. Отменные родючие земли юга, заласканные теплыми зорями, умытые грозowymi дождями. Равнина вдруг оборвется, круто спустится в балку. За глубокой балкой, глядишь, взгорок или отрог каменистого кряжа, а то и насыпанный предками сторожевой курган. Каких-нибудь сотню лет назад по этим балкам и отрогам проходила околица российской державы. Все изменилось вокруг, разве только ветры остались прежними. В их напряженном гудении, в их легкой пробежке по степи слышатся отголоски давних времен, чудится конский топот, звон сабель...

В селе Ново-Игнатьевском, близ Волновахи, на дорогу вышел столетний Георгий Гаврилович Кацель, молдаванин. Хранит в памяти Георгий Гаврилович время своего детства, когда вместо теперешнего асфальтового шоссе на Жданов через Дикое поле прокладывали в воловье упряжке «показную борозду» от Бахмута на Азов.

На наш вопрос, помнит ли дедушка Кацель служивых людей из рода Возьяновых, старик твердо ответил:

— Помню и старшего и младшего... В то время все служили. В каждом дворе был строевой конь со всей амуницией... Возьяновы — казаки от роду.

Капитана очень обрадовала встреча с другом детства и военной юности отца, дедушкой Иваном Хора. Поначалу не обошлось без конфуза. Когда старик, отирая комья земли с ладоней, пришел с огородов и Возьянов-младший шагнул к нему на встречу, Иван Саввич воскликнул изумленно:

— Христофор! Побратим!

Обнялись, и только потом Алексей Христофорович сказал:

— Мы с отцом, говорят, очень похожи друг на друга!

Через минуту, приглядевшись к современным знакам отличия на кителе офицера, Хора убедился, что перед ним действительно не Христофор. Немного смущенный, жалуясь на глаза, хозяин повел нас в хату.

Иван Саввич — грек, до сих пор, несмотря на заметную седину, волос его остается почти черным, лицо смуглое до темноты. И жива в нем эта трогательная братская привязанность к русскому однополчанину Христофору Возьянову. С ним Иван Саввич служил в одной роте 146-го Царицынского полка, ел из одного котелка... В 1914-м близ селения Вишневецкого, под Варшавой, Иван Хора получил тяжелое ранение... Темной, в тугих венах рукой гренадер достает из домашней скрини потускневший серебряный крест с изображением Георгия Победоносца.

— Были и еще награды, были... И у дружка Христофора имелось не меньше, чем у меня... Клинок его помню...

В строй Ивану Хора вернуться не удалось. На гражданскую дружку его Христофор ушел один. Служил в Ставропольском красном казачьем полку, затем был участником похода через приморский перевал в составе армии Ковтюха. Никогда не расставался с оружием отца.

Как-то, будучи командиром сотни казачьего полка в Ставрополе, Христофор получил задание — охранять штаб соединения, куда собрались на свой съезд красные казаки. Нашлись предатели. На рассвете эскадрон белых атаковал хуторок, где шло совещание.

В короткой и яростной схватке полегла почти вся сотня, но денкиндцы не добились успеха, отошли с большими потерями. В том бою тяжелое ранение получил Христофор Возьянов. В беспокойное время Христофора везли проселочными дорогами в родное село — такова была просьба смертельно раненого казака, не пожелавшего, чтобы его хоронили на чужбине. Христофор верил в целительные снадобья, на которые была гораздо его жена степнячка Ирина. Она уже врачевала его отварами трав после возвращения с японской. Христофора прятали родные: от случайных глаз, от неслучайных набегов местных и залетных банд. Без стога переносил муки Христофор. Лишь посетует, бывало: «Эх, беляки несчастные!.. Не могли зарубить до смерти. Я всегда напополам разваливал!» И просил принести клинок.

Кажется, с еще большим рвением, чем за Христофором, охотились недруги за клинком. Особенно усердствовали кадеты — посланцы Деникина. Они появлялись на подворье то у одного, то у другого родича Христофора.

Однажды постучали концом плетки в заставленное доской оконце хаты Ольги Юрьевны Навки, жены партизана-конника Емельяна, недалежного родича Христофора.

Ольга Юрьевна, тогда еще совсем молодая женщина — она вышла замуж пятнадцати лет, — сидела в хате, прижимая к груди голову двенадцатилетнего сынка Юры. Это был не первый набег незваных гостей.

— Говори, где муж? — завопил с порога старший группы. — Когда последний раз домой заявлялся? Ну?!

Женщина еще ниже клонила голову под взмахом плетки, крепче прижимала к себе мальчика.

— Не знаю... ще з войны не вертався.

— Врешь! Он в отряде Давыдова, нашим головы рубит!.. От царя награды получал, защитникам трона теперь кровь пу-

скают!— И тут же требовали: — Ищи кресты и медали! Небось, и клинок возьяновский у себя бережете?

Не найдя клинка и мужниных крестов, они на глазах у матери застрелили ее сына, первенца Юру.

Сейчас, полвека спустя, Ольга Юрьевна, еще крепкая, дебелая старуха, пережившая так много, не может сдержать рыданий, вспоминая о гибели мальчика.

Твердым, неторопливым шагом девяностолетний Емельян провожает нас к машине, рассказывает, как рубил беляков, мстил за сына... А Христофор так и не смог перебороть болезнь, въевшуюся в него после сабельных ударов врага. Едва став на ноги, он несколько месяцев помогал комбеду, работал в первом на селе советском магазине потребкооперации, затем уже окончательно слег. В это время он крепко сблизился с братом жены, Константином, тоже активным участником гражданской войны. Именно ему в предсмертный час Христофор передал клинок:

— Может, кто из детей пойдет по военной линии... От меня вручишь!

Все трое сынов Христофора служили на действительной, участвовали в Отечественной войне. Но родительское оружие досталось самому младшему, Алексею.

Случилось это так. В голодовку умерла мать, и трехлетнего Алексея взяли родственники. Потом со старшими братьями и сестренкой Тоней он попал в детдом, затем опять вернулся в село и жил в семье дяди Константина. Подростком батрачил у мироедов, затем пахал землю на коммунарском поле. Когда началась коллективизация, тринадцатилетний Алексей оказался незаменимым помощником старших: он хорошо знал кулацкие тайники, шел туда, где взрослому было бы сложнее... Как-то кулацкие наймиты подстерегли его в балке — он нес почту из сельсовета, — избили и бездыханного бросили в реку. Женщины, выгонявшие поутру скот на выпаса, нашли паренька в лозняке. Дважды в него стреляли, когда вновь стал появляться на улице. И тогда сельсоветчики пригласили на свое заседание представителя Мариупольского военкомата, приняли решение: просить помощи у военных для определения сына красного казака воспитанником в военную часть.

— Со службой мне повезло, — вспоминает сейчас Алексей Христофорович. — Я попал в знаменитую Седьмую Самарскую дивизию, сформированную на базе Таращанского и Богунского полков. К шестнадцати годам окончил полковую школу и стал командиром отделения.

...В доме, где хранился клинок после смерти Христофора, в тот вечер собрались почти все родичи Возьяновых.

В то время еще крепкий, рослый буденновец Константин Юрьевич добрым словом приветствовал юного племянша, младшего командира, получившего за отличную службу внеочередной отпуск и приехавшего на побывку в родное село. Дядя Константин опять и опять заговаривал о дедушке Юрии и брате Христофоре, об их доблести, умении владеть оружием при защите родной земли... Где-то на полуслове своей прерывистой речи дядя Константин вроде запнулся и вышел в сени. Вскоре он, будто помолодевший, вернулся, неся на руках слегка выдвинутый из ножен клинок...

— Бери, младший Возьянов... Без нужды не вынимай, но если придется вынуть — помни деда и отца!.. Тебе завещано оружие!

По казацкому обычаю тут же велел поцеловать клинок.

Вернувшись в часть, Алексей доложил комиссару Василию Ивановичу Бородину о необычном подарке, полученном из рук буденновца. В полковом клубе 28-го кавалерийского полка состоялся торжественный вечер, на котором Алексею Возьянову клинок был вручен как бы вновь, закреплен за ним официально.

Искусству рубки Алексей учился у командира эскадрона А. И. Кручинского, о котором тепло вспоминает до сих пор. В неполных восемнадцать Возьянов становится командиром взвода. В этой должности он участвует в освободительном походе в Западную Белоруссию, затем бои на Карельском перешейке. Великая Отечественная война застала его на западной границе.

...В поисках давних фотокарточек деда и отца Возьяновых, в надежде на встречу с однополчанами этих героев мы с Алексеем Христофоровичем исколесили все Приазовье. Пришлось побывать и на Ставрополье, где в разное время служили все три обладателя клинка. В эти очень напряженные дни погони за отлетевшими в вечность яркими мгновениями прошлого, дни находок, встреч, разочарований на языке вертелся немного наивный, почти ребяческий вопрос: «Вот вы, Алексей Христофорович, законный наследник клинка... Где вы применяли это оружие?»

Помогли ребята, энтузиасты военно-патриотического кружка школы № 13. На встречу с ребятами был приглашен еще один воин из рода Возьяновых — Навка; двоюродный брат Алексея Христофоровича, Павел Павлович. Стройный, прямой, ухвастый, он еще молод лицом, хотя уже на пенсии. Павел Павлович явился на слет юных патриотов при всех наградах, которыми была завешана его довольно-таки широкая моряцкая грудь. Прослужив всю войну на флоте, на эсминцах «Бодрый» и «Свободный», он достойно умножил своими подвигами славу дедовского оружия!

— Осторожно, дети! — начал с предупреждения свой рассказ о клинке Алексей Христофорович.— Это оружие и сейчас остро. Но пусть оно будет страшным лишь для врагов нашей земли...

— Расскажите!.. Расскажите!..

Впервые в Великую Отечественную войну, по рассказу А. Возьянова, клинок побывал «в деле» в ночь с 25 на 26 июня. Большая группа фашистов на мотоциклах и велосипедах провалилась вслед за танками от Молодечно к Острошицкому городку. В составе эскадрона 15-й погранзаставы А. Возьянову было приказано атаковать выдвинувшуюся механизированную группу. Атаковали двумя оаходами: в лоб и с фланга... Сорок трупов солдат и офицеров оставили враги в низине под Острошицким той ночью. Семь гитлеровцев нашли смерть от клинка Возьянова.

Очень много пришлось поработать клинку в боях и под Ельней.

— Однажды,— продолжает А. Возьянов,— мне пришлось испытать прочность златоустовской стали в поединке с вражеским конником, когда по всем правилам боя следовало выбить оружие из рук неприятеля и лишь затем зарубить его самого... Это произошло в районе станицы Обливская, когда окружали сталинградскую группировку Паулюса. На меня вышел фашистский офицер, как потом оказалось, итальянец. Офицер видел, что я на своем дончаке ниже, и ему сподручнее было ударить меня сверху, навесным ударом. Мне этот прием был известен еще со времени учебы у эскадронного Кручинского. Миг — и решение принято: сблизиться, придержать коня и ударить по палашу фашиста снизу... «Крепыш, стремя!» — успел я шепнуть коню, и мой боевой товарищ рванулся навстречу... Сблизившись с белым конем врага, мой Крепыш сделал стойку, затем резко, как могла выполнить не всякая, даже обученная лошадь, изогнул шею дугой, давая мне пространство для выпада клинком. Лязгнул металл, и палаш вражеского всадника разломился надвое. Из-за оскаленной морды белого коня я увидел округлившиеся в ужасе глаза офицера. Крепыш вьюном крутнулся и заступил дорогу белому коню... Через минуту все было кончено. После боя я подобрал перебитый палаш и прочел на нем знаки завода Круппа... На нашем клинке за всю войну, точнее сказать, за четыре войны не без труда отыщешь лишь две еле заметные вмятины. Много раз в бою я добрым словом вспоминал наших златоустовских умельцев, и тех, кто ковал наш клинок, и нынешних мастеров отечественного оружия.

В дни поездки по городам и селам юга мы не расставались с надеждой выяснить, сколько же раз отличились в боях за

родную землю представители рода Возьяновых. Но подвести такой итог оказалось делом немислимым: многие из семьи Юрия Юрьевича не вернулись с поля боя, другие, подобно буденновцу Емельяну, не сохранили своих наград, хотя хорошо помнят, когда и чем награждались. Вместе с Христофором ушел на японскую его шурия Валерий. Отличился там, но пал под Мукденом. В Отечественную погибли племянники Христофора, Иван и Алексей. Целое племя отважных бойцов революции вырастила сестра Христофора Екатерина Юрьевна: Константин был видным для своего края чекистом, Федор — комиссаром в продотряде... Сестра их Анна Павловна была отменной казачкой, не хуже мужчин владела искусством верховой езды, участвовала в гражданской войне.

Кроме Павла Павловича, семь раз награжденного за участие в боях и морских десантах под Новороссийском и Севастополем, не однажды награждался родной брат Алексей Христофоровича, Иван. Его сын Федор, двадцатичетырехлетний солдат срочной службы, совсем недавно проявил личную инициативу и смекалку при выполнении ответственного задания командования.

Не обжевав и половины родственников, мы с Алексеем Христофоровичем, по самым придиричивым прикидкам, насчитали более 70 возьяновских наград.

Однако самой удивительной «находкой» в этой поездке по следам старинного русского оружия было открытие простой истины: род Возьяновых не был таким уж воинственным! По сигналам казачьих войсковых старшин и дед Юрий Юрьевич и Христофор прежде всего кидались не к седлам и оружию, а... к скрипкам. Оба они, по свидетельству старожилов, были великолепными музыкантами. Иван Хора вспоминает, что дружок его Христофор играл по просьбе однополчан мелодии своего края даже в окопах, на германской. За эту редкую способность к музыке Христофора любили собратья по оружию не меньше, чем за храбрость. Еще лучшим музыкантом, рассказывают, был Юрий Юрьевич. Тот выступал на сельских вечерках и свадьбах в паре с войсковым побратимом — безногим солдатом, пришедшим за ним с русско-турецкой войны. Солдат подыгрывал ему в бубен...

Сейчас музыкальную линию предков продолжает младшая дочь Алексея Христофоровича и Зои Ивановны Возьяновых — пятиклассница Ирина. Она прилично играет на пианино.

Сталь и нежность! Клинок и скрипка... Значит, не одними воинственными кличами была озвучена жизнь наших предков. Не зря на их оружии мастера глубокой меткой наносили слова: «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай!» Поначалу было предупреждение «Без нужды не вынимай...». Суровая необ-

ходимость, высокая потребность времени, смертная нужда в защите родной земли заставляли представителей славного рода Возьяновых вспоминать о дедовском клинке. Желанными у них оставались стремление к труду, любовь к пашне, потребность в музыке. Такими были русские воины от веку, от дедов-прадедов. Все, не только Возьяновы. Вот почему так понятны заботливые слова Алексея Христофоровича, нынешнего хранителя клинка:

— Осторожно, дети!.. Клинок не забава... Он еще остер.

СТРОГАЯ ТИШИНА

В феврале там снега... Знаменитые сахалинские метели в колдовской крутоверти соткали для холмистого окрестья саван чистойшей белизны. Окна редких строений Брусничной долины залеплены звездчатой ватой, увлажненные ключами распадки сопок стали еще более отлогими, вечные спорщики — берег с морем — помирились. И лишь бульдозер, надрывно урча, дымясь от усердия, не сдаётся стихии, взламывает сугробы. Нет, он не расчищает пропавшую под снегом пограничную полосу, не отыскивает дорогу. Мимо заставы пролегал путь к отдаленному рыбацему селению. После очередного нашествия вьюг дорожку здесь создают заново.

А как же граница?

При упоминании этого слова в моих ушах теперь будет звучать резкий скрип укатанного волной прибрежного песчаника. Мелкий, стерильно чистый, пляжный песочек хрустит под солдатскими сапогами, будто снежок. Мы стоим на этом песке с младшим сержантом Николаем Костенко и провожаем взглядом двух статных парней, удалившихся после тщательных сборов на охрану государственной границы. На утрамбованном волнами песочке видны даже следы птицы. Зато и ходить здесь не полагается никому, кроме пернатых, да вот этим парням, не избавившимся от гражданской угловатости, еще не отравившим чубчиков после военкоматской стрижки.

Мы стоим на самой границе. Слева немного стиснутая двумя несмелыми мысками зеленоватая в этих местах вода океана. Под остывающим к зиме солнцем залив холодно и остро блестит, будто чешуйчатое тело исполинской рыбы. О размере этой «рыбы» можно судить по сторожевому кораблю, ровно идущему по самой линии горизонта, как по шнуру. С множеством надстроек, башен и иных сооружений грозный корабль выглядит спичечным коробком. Я пытаюсь определить, кто кому в помощь выделен: патрулирующий в водах корабль — береговой охране или пограничники — кораблю. Уверен, там, на корабле, знают об этих

двух, знают и надеются на их поддержку, если она потребуется. Быть может, знают и то, что на этой заставе служит младший сержант Костенко. Имя этого пограничника я слышал перед встречей с ним дважды. Один раз от его бывшего воспитателя старшего лейтенанта Александра Пашкова, в другой раз об умелом воине-дальневосточнике вспомнил офицер, имеющий прямое отношение к корабельной службе.

Николай Костенко смугл, ширококул, присадист. Он скор на ногу, в глазах, глядящих прямо, вприщур, настороженность, раздуминка. Множество дел, частая смена обстановки, всегдашняя личная боеготовность номер один, в том числе и способность лично заменить любого из своих подчиненных, выработали в нем потребность к непрестанному дежанию. Любую работу он творит с предельной быстротой, но без суеты, без срыва... За то непродолжительное время, пока мы провели вместе, не исключая и нескольких минут молчания на самой границе, на хрустящем песке, младший сержант виделся мне в самых различных ситуациях: подготавливал наряд на охрану границы, кормил солдат, обучал новичков, устранял какой-то конфликт между двумя неговорчивыми, докладывал старшим о событиях в масштабах своего отделения. Кого-то из подчиненных защищал от излишней командирской строгости... Мало сказать: неразговорчивый! Молчун из молчунов! И все же он успел сказать несколько сыновьих, теплых слов и о своем отце Николае Васильевиче, участнике Отечественной войны, и о матери Наталье Васильевне, учительнице младших классов. Вспомнил о младших сестренках, Свете и Оле... О будущем он думает просветленно: после службы учеба «по технической специальности». Однако командиры на этот счет совсем иного мнения. За год службы в пограничных войсках Николай, быть может, незаметно для себя не только втянулся в новую, сложнейшую профессию воспитателя молодых воинов, но и освоил ее на современном уровне; не только освоил, но и полюбил... Добрая слава на легких крыльях, для славы нет границ. Николай Костенко хорошо воспитывает подчиненных — это факт. Имя его помнят и на учебной заставе, где Николай учился на командира, и в Управлении погранотряда, где лучших солдат ставят в пример, а значит, Николай воспитывает и всех остальных.

На мои расспросы: кого из подчиненных Николай хотел бы отметить добрым словом, что ценит он в своих ровесниках, ушедших на охрану границы и отдыхающих сейчас после наряда,— младший сержант, сдержанно улыбнувшись лишь глазами, сказал:

— Если из новичков, то Михаил Нечаев... Все делает точно и без напоминаний.

«Все точно!» Каким запасом навыков в беспрестанно меняющейся и всегда полной загадок жизни пограничника должен располагать человек, чтобы отреагировать на любую неожиданность вовремя и безошибочно! Сколько времени должен уделить каждому новичку командир, чтобы помочь овладеть целым комплексом навыков!.. «Без напоминаний...» За этим критерием видится встающий из цепи Александр Матросов, чтобы кинуться на амбразуру вражеского дота. Кто мог напомнить в тот миг Матросову о том, что нужно действовать именно так и никак иначе?.. Разве коллега Николая Костенко, пограничник из Приморья, сержант А. Бабанский, ждал напоминания, чтобы принять командование взводом после гибели его командира?

Не ждать особых команд и напоминаний — это, по-видимому, один из главных признаков подготовки пограничников. Из беседы с замполитом заставы, где служит Николай Костенко, с офицером Спиридоном Казагашевым я вынес убеждение: младший сержант уже не однажды действовал в сложных условиях пограничья точно и без напоминаний...

— Когда Костенко в наряде, на границе все идет без происшествий,— слышал я как само собою разумеющееся.

— Но все же происшествия бывают?..— осторожно намекаю я.

— Если бы не бывало, зачем тогда застава? — уточняет Казагашев.— Впрочем, у нас давно ничего такого не было, кроме нарушений пограничного режима. У соседей беспокойнее... Подоспели, помогли.

Спиридон Казагашев невысок, костист. Он степняк, родом из Забайкалья. Его мать, колхозница, до сих пор трудится в родном селе. Недавно Спиридон навестил родительницу, встретился с невестой, которая учится. Обзаводиться семьей парень не торопился да и торопиться—то еще некуда, ему только двадцать два. Здесь, на этой заставе, в звании рядового началась его пограничная служба, здесь он овладел изначальной наукой ночного дозора и поиска, овладел прочно, грамотно, как говорят теперь. Отсюда, прослужив некоторое время младшим командиром, уехал на материк в училище и вернулся, быть может, навсегда. Самому старшему здесь командиру лишь на два года больше, чем Спиридону.

Часа полтора тому назад, перед тем, как пройти по скрипящему песку границы, я выслушал от них нечто в виде инструктажа, обязательного для всех, посвященных и непосвященных. Рассказывали о некоторых особенностях охраны государственной границы именно на этом участке, лучше сказать, на одном из участков. Впечатления мои во время этого инструктажа-беседы менялись: то удивлялся многообразию занятий

пограничников и масштабности их высокого долга, то проникался минутным страхом... беспокойством за их же судьбу. Внутренний голос твердил: «Мальчишки!.. Совсем мальчишки!.. Самому старшему двадцать четыре!.. Огромный кусок земли... Точно... Самостоятельно... Без напоминаний!» Что-то громадное, могучее должно подпирать этих лишь начинающих жить молодых людей, чтобы они всегда чувствовали себя неустраслимыми на оглушенном приборами и метелями самом дальнем от города клочке земли. По лицам, молодым и уверенным, я видел: они чувствуют за своей спиной эту неодолимую огромность. Имя этой силы — Родина!

Со Спиридоном Казагашевым ездили в сопки, к безымянной речушке. Там, на стыке охраняемых зон, на рубеже двух застав, мы взяли в машину пограничников, окончивших свой нелегкий, с полным боевым снаряжением, обход. И по тому, как заботливо относился Спиридон к младшим собратьям по оружию, как внимательно он выслушивал их отчет о патрулировании вдоль границы, уточняя и без того подробные сведения, несложно было понять: границу оберегают здесь все — и заступившие на пост и те, что в напряжении ждут сигнала тревоги.

Этот мой неслучайный вывод о взаимодействии сердец при охране границы авторитетно подтвердил один из ее преданных часовых и стратег одновременно — А. Пашков, вручивший не столь давно погоны младшему сержанту Николаю Костенко. Удивительный человек этот не ограничился блестящим знанием своего военного дела, а написал диссертацию на тему об охране границ. Этому командиру и одновременно ученому нет и тридцати, но кое о чем он вспоминает на стариковский лад, уже как о пережитом «в молодые годы». Так наполнена событиями его жизнь. Вспоминает и тем самым развеивает всякие сомнения насчет надежности «мальчишек». Пашкову шел двадцать шестой год, когда он был начальником заставы. Впрочем, дело не в месте расположения. Прибыв на заставу, А. М. Пашков стал не только командиром определенной ему по штату вооруженной группы солдат и сержантов, но благодаря кипучей натуре вскоре определился как вожак всех настоящих патриотов края — от старых рыбаков, участников Отечественной войны, до учащихся местной школы. Людей, жаждущих помочь пограничникам по первому зову и помогать им всегда, оказалось достаточно, чтобы сколотить несколько дружин. В основном это были рыбаки и их дети. Начав с осторожных предположений, с изучения местных возможностей относительно резерва и помощи «на случай», молодой исследователь этот так укрепил и эшелонировал охрану границы на своем участке, что сам же после не раз удивлялся результатам. Одной из побед мо-

рального свойства была та, что окрестное население крепко сошлось с пограничниками и достойно несло часть их неусыпных забот. Прошло несколько лет, но А. М. Пашков помнит именно наиболее отличившихся, награжденных грамотами, ценными подарками и даже медалями. Среди отмеченных экспедитор А. Ф. Артюх, его брат В. Ф. Артюх, учитель В. И. Безуглый. Немало подростков, поднаторев в учебных походах, испробовав себя на выносливость в таежных «поисках», шли затем на действительную в погранвойска.

Так страницы из биографии молодого офицера ложились затем главами в его научную работу.

На другой день после знакомства мы должны были ехать с А. Пашковым в одно из подразделений, где служат его воспитанники. Но утром меня известили, что в полночь все подразделение во главе со своим ученым командиром устремилось за десятки километров в таежную глухомань. Сигнал тревоги последовал издалека: пропал человек! Ушел в тайгу и не вернулся... Случиться может всякое. Но на границе не мирятся с неизвестностью. Во всем должна быть предельная ясность. Два дня и две ночи потребовалось питомцам А. Пашкова, чтобы распутать клубок из нехоженых и хоженных троп, прочесать тайгу. Пропавший был найден.

Хороший человек как бы освежает атмосферу окружающей его среды, оздоравливает полезной деятельностью других, доказывает собой, что жить можно лучше, красивее. Поэтому я не удивился, что подразделение, подчиненное А. Пашкову, пять лет считается отличным. Впрочем, пора, кажется, переставать удивляться тому, что молодые, здоровые парни, окончившие до призыва десятилетку, а то и курс-два вуза, успешно овладевают военными уставами, умеют ходить в строю, бдительно несут караульную службу, молодецкато выглядят. Если к этому прибавить, что пограничники преимущественно по своему выбору идут в этот род войск — а я в этом убедился в разговоре со многими! — то почему, собственно, некоторые из них должны служить, скажем, вполсилы? Но есть вещи и в солдатской службе, простой и вроде бы понятной со стороны, которые требуют особых, быть может, врожденных качеств. Например, стрельба.. Для точной стрельбы из современного оружия требуется отменное зрение и активная реакция организма. А этими данными располагает не каждый и не всякий. И все же стрелять нужно отлично! Всем! Ибо солдат — это человек, умеющий стрелять по цели. А потом все остальное.

С этой мыслью-загадкой о врожденных качествах стрелка я ходил по стрельбищу. День выдался неудачный, ветреный. С моря потягивало моросью. Давали себя знать и изнуряющие,

бессонные ночи, проведенные в тайге. Но стреляли все-таки опять отлично!

А. Пашков, руководивший стрельбами, спустился затем с командирской вышки и, прохаживаясь вдоль строя отличников, говорил... о недостатках... В боевой обстановке любая оплошность снизила бы огневой итог и привела бы к напрасным потерям. Беседовал офицер с подчиненными, ни разу не нажав на дикцию. Так говорят со своими учениками философы. Здесь был ученый от науки побеждать.

Что касается новой техники, то она, вероятно, как-то сказалась и на результатах стрельбы. Но силу новой техники пришлось увидеть у пограничников-моряков. Сторожевое судно, которым командует ровесник А. Пашкова и, между прочим, поэт Юрий Поленов, продираясь сквозь кромешную тьму через залив Терпенье, за ночь, проведенную мною у них в гостях, дважды переходило по тревоге на боевой маневр: приближались к незнакомому предмету.... На расстоянии трех километров приборы фиксировали в бушующих волнах подозрительную темную точку. Спускали шлюпку. В одном случае поднимали... ящик из-под котиковых шкур, в другом остатки разбитой шаланды. Но если бы вместо пустого ящика на глаза морякам попало нечто более существенное, вплоть до вооруженных нарушителей водных рубежей, поэт Ю. Поленов повел бы своих соратников в бой, самый настоящий. На счету этого «часового» морских рубежей за последние годы два крупных задержания. Не знаю, Ю. Поленов или кто другой подарил сухопутному подразделению, где служит А. Пашков, выуженный из прибрежных вод хитроватый буй, который автоматически выбрасывал антенну, если поблизости проходили наши корабли, и отстукивал условные знаки устроителям этого робота-шпиона. Разглядели моряки в пучине вод и эту адову машину. Сейчас, со сломанной при abordаже антенной, автоматический хищник покоится в комнате боевой славы части, напоминая молодым пограничникам о том, что наше побережье не перестало интересоваться врагов и что единственная гарантия неприкосновенности рубежей — это отличная их выучка, отличная бдительность и — если потребует-ся — отличная стрельба! Только отличная!

Как-то знакомый пилот, задержавшийся на Курильских островах из-за непогоды, вернулся домой ночью. На подходе к Сахалину он увидел в открытом море вблизи берегов тысячи огней... Нет, это была не галлюцинация уставшего человека. Множество рыболовецких шхун иностранных держав промышляет в так называемых нейтральных водах, в непосредственной близости от границы и днем и ночью. Только ли рыбой и крабами занимаются эти тысячи?... На мой вопрос А. Пашкову, зна-

ет ли он о том, что остров по ночам окружен полуджьем огней иностранного происхождения, офицер молча кивнул головой.

Враг, даже будучи уличенным в своей неправоте, не всегда поддается увещаниям и предупреждениям. Взращенный на коварстве, он признает лишь силу. Значит, мы должны для своей безопасности располагать достаточной силой. Пусть мудрость наших ученых умножит силу бойцов.

На Сахалине крепнет традиция служить делу охраны рубежей семьями.

По дороге со стрельбища познакомились со старшиной подразделения, сверхсрочником Петром Ивановичем Лымарем. Если бы тот сам не заговорил о детях, мне и в голову бы не пришла мысль о том, что Петр Иванович — дедушка, настолько молодо и браво выглядит этот атлетически сложенный, мускулистый, энергичный человек. В краю живописнейших, необжитых лесов и гор Сахалина Лымарь стал охотником-медвежатником. Недавно его пригласили «распутать» одну из трагедий. За подраненным зверем в горный распадок увлекся молодой парень из переселенцев... Лымарю удалось напасть на след. Он рассказывает о случившемся с такими подробностями, будто не спускал человека и медведя с глаз в самом начале поединка...

При расставании Лымарь приглашал на охоту в горы. Об этом своем «хобби» он рассказывал с большим увлечением. Но, кажется, впервые в жизни, слушая настоящего следопыта, я понял: охота — это отнюдь не только отдых. Это тяжелейший труд, это, если угодно, целая наука!

Позже мне говорили, что П. И. Лымарь с не меньшим искусством распутывает следы двуногих зверей, если шальная судьба заносит их в запретную зону.

Своего летописца ждет пограничная семья Гребенников. Я знаком с младшим из них, Владимиром Кузьмичом, полковником. Есть и старший, Кузьма Евдокимович, генерал, сейчас на отдыхе.

Смоляне родом, Гребенники избрали местом жительства Дальний Восток и острова Тихого океана. В пору молодости Кузьма Евдокимович руководил заставой, командовал пограничным отрядом. Это отряд Гребенника первым принял на себя удар японских самураев у Посьета, в районе озера Хасан. Владимиру было тогда тринадцать лет. Он хорошо помнит события тех дней. Помнит, как приезжал на их заставу писатель Вс. Вишневский, собирав на беседу пограничников, школьников, помогавших отцам. Отец Владимира затем воевал в Отечественную, заслужил звание Героя Советского Союза. Награжден он и знаком Почетного чекиста.

Одно время судьба едва не увела Владимира на другой путь, в сторону от пути, прогоренного отцом. В военное училище он попал медицинское, затем уже по ходу службы переквалифицировался в часовые Родины. После окончания пограничного получил назначение начальником той же заставы в Посьет, где служил отец. Трогательной была встреча Владимира со старшиной заставы Андреем Федорцом, служившим еще у отца, Кузьмы Евдокимовича... Так сходятся круги судеб. Долго Федорец по привычке называл Владимира Кузьмой, всякий раз смущаясь своей оплошки...

Сейчас Владимир Кузьмич — солидный мужчина, отец семейства, «батя» мощного племени умелых и неустрашимых заступников дальних рубежей. Последний раз я встречался с ним в ясный теплый день, каких осенью выпадает на Сахалине достаточно. Владимир Кузьмич Гребенник собирался в отпуск, на материк. Мы попрощались с ним. Но на другой день я узнал, что Гребенник-младший начал свой отпуск в тайге: на рассвете туда позвала тревога.

Как-то я спросил после одной бессонной ночи у Гребенника:

— Что нового за последнее время на границе?

Сын генерала ответил, поправляя фуражку с зеленым околышем:

— Граница? Пока спокойно...

Строгая здесь тишина!

Николай Иванович Родичев
ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОВЕК...

Редактор — **П. А. КРАВЧЕНКО.**

Технический редактор Я. М. Борисов.

Сдано в набор 11/V 1971 г. А 08182. Подписано к печати 20/VII 1971 г.
Формат бум. 70×108^{1/32}. Объем 2,10 условн. печ. л. 2,98 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 1571. Заказ № 1355.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

ПРИБОРАТАТЕ БИЛЕТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ЛОТЕРЕИ!

В нашей стране ежегодно издается громадное количество книг самого различного содержания. Только в Российской Федерации в прошлом году было выпущено 47 130 книг и брошюр общим тиражом 1 миллиард 5 миллионов 184 тысячи экземпляров.

● Довести это колоссальное книжное богатство до широких слоев городского и сельского населения и можно лишь при активном участии общественности и самих книголюбов. Хорошей формой массового вовлечения их в эту работу служит книжная лотерея, проводимая Комитетом по печати при Совете Министров РСФСР с марта 1965 года.

● Книжная лотерея проводится исключительно в интересах советских читателей. Ее отличительная особенность состоит в том, что она постоянно действующая. В соответствии с утвержденным положением ежегодно проводится по 4 выпуска лотереи, общая сумма которых составляет 20 миллионов рублей. Для этого изготавливается 80 миллионов лотерейных билетов достоинством в 25 копеек.

● В каждом выпуске 6 миллионов 900 тысяч выигрышей на 4,5 миллиона рублей: выигрыши в 50 копеек, 1 рубль, 3 рубля и 5 рублей. Общая сумма выигрышей составляет 90 процентов к стоимости всех реализованных билетов.

● Вторая, не менее важная особенность книжной лотереи состоит в том, что у нее нет тиражей. Выигрыши заранее заложены в опечатанном билете. Каждый обладатель «счастливого билета» может отоварить его на месте, или в любом другом книжном магазине, или в киоске в течение всего срока действия данного лотерейного билета. Иными словами, читателю предоставлено право самому выбрать любую книгу или, скажем, эстамп, альбом для марок или набор художественных открыток.

ТОВАРИЩИ! ПРИБОРАТАТЕ БИЛЕТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ЛОТЕРЕИ!